

Бронислава Бродская



Биарриц-сюита

Бронислава Бродская
Биарриц-сюита

«ЛитРес: Самиздат»

2014

Бродская Б.

Биарриц-сюита / Б. Бродская — «ЛитРес: Самиздат», 2014

В самолете летят четверо мужчин, вспоминая разные эпизоды своей жизни. Победы и поражения каждого всегда были связаны с женщинами: матерями, женами, дочерьми, любовницами. Женщины не летят на этом рейсе, но присутствуют, каждая на свой лад, в сознании героев. Каждый персонаж вплетает свой внутренний голос в чередующиеся партии, которые звучат в причудливой Биарриц-сюите, по законам жанра соединяя в финале свои повторяющиеся, но такие разные темы, сводя в последнем круге-рондо перипетии судеб, внезапно соприкоснувшихся в одной точке пространства. Содержит нецензурную брань.

Содержание

Михаил	6
Женя	9
Егор	11
Лора	13
Артем	16
Ася	19
Борис	21
Марина	25
Михаил	27
Женя	30
Егор	33
Лора	37
Артем	39
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Ad libitum

Михаил

Этот рейс открыли совсем недавно. Теперь можно было прямо летать Москва-Биарриц безо всяких пересадок в Париже. Люди толпились в терминале, кто-то сидел на неудобном черном кресле, листая газеты, вперемежку разбросанные где попало, кто-то с отрешенным видом рылся в своем планшете, некоторые лениво переговаривались со спутниками, через каждые пару минут поднимая голову к стойке, где празднично стояли служащие компании в пригнанной синей форме. Посадку почему-то не объявляли, хотя было пора. Около открывавшихся в рукав дверей стояла кучка возбужденной молодежи. Было всего 8 утра, люди очень рано встали, долго по пробкам добирались до Шереметьева, из-за этого многие казались сонными, раздраженными, и уже усталыми. К ребятам у дверей, которым не сиделось, это не относилось. Они галдели, громко разговаривали, кто-то то и дело смеялся.

Михаил сидел недалеко от выхода на телетрап и пытался их не слушать. Все эти неуместные с утра пораньше смешки его глухо раздражали, но он, давным-давно привыкнув к поездкам, понимал, что хохотать они не перестанут и в самолете, но что ему следует от всех отвлечься и постараться сосредоточиться на своих заказчиках, двух русских бизнесменах из Кирова. Для них поездка во Францию была желанной. В Биаррице они оба никогда не были, и возможно даже не слышали о таком городе в предгорьях Пиренеев, на самой испанской границе, городе басков. Закрывать глаза у Михаила не получалось, так как то один то другой клиент задавали ему беспрестанные вопросы, называя его Михаилом Александровичем. Михаил был с ними терпелив, привычно улыбаясь, он старался их развлечь, как можно красочнее представляя культурную программу. Эти плотные провинциальные мужики-бизнесмены в плохо сидящих тесноватых костюмах, в светлых рубашках с запонками, его интересовали, и даже очень. Они должны были подписать контракт с французской фирмой, в которой он давно работал, на поставки оборудования на их завод. От подписания этого довольно крупного и выгодного для французов контракта зависела его собственная комиссия. Дядьки кровь из носу должны были "повестись" на презентацию, на красочные слайды и коммерческую выгоду всего своего заказа. Никто, разумеется, не говорил ни на одном иностранном языке, и Михаилу Александровичу придется участвовать в переговорах в качестве технического переводчика, и от его убедительности будет зависеть исход сделки. Как правило у него все получалось, но не всегда. Он допускал, что придется возвращаться из безразличной ему Франции без подписанного контракта, ничего не заработав. Ему уже давно было все равно, куда лететь, в каком европейском городе будут переговоры. Гостиницы и рестораны, где, к сожалению, приходилось пить, изображая из себя "русский характер" и свойского мужика, не запоминались. Михаил спал плохо, даже и дома, а уж в командировках совсем ни к черту. Сказывалось напряжение, ненужный алкоголь и необходимость переводить шуточки соотечественников. На переговорах он напрягался, но это была привычная, конкретная работа, он, инженер, всегда прекрасно разбирался в предлагаемых его фирмой товарах и услугах по поставкам и монтажу продукции.

А вот все, что было за рамками переговоров давалось ему труднее: надо было ходить в какие-то галереи, музеи, концерты. Отказаться было бы неприлично. Французы, пытаясь завлечь русских клиентов, показывали им местные достопримечательности, тем более, что с национальной гордостью у французов всегда все было хорошо. Русские изо всех сил делали вид, что им все интересно, что они ценят культурную программу, но самое для них интересное были рестораны. Они настороженно смотрели вокруг, изучали меню, пристально смотря на цены, и Михаил знал, что они обязательно сравнивают эти цены с ценами в своих ресторанах, мысленно переводя евро в рубли.

Заказывали обязательно водку, русские поначалу держались, но потом, перейдя определенную черту, забывались и пили много, с каким-то нарочитым фасоном, громко разговари-

вали, рассказывали анекдоты, переводить которые была мука, тем более, что в анекдотах, часто несколько скабрёзных, были отражены русские реалии, которые европейцы все равно не понимали. Михаил ненавидел эту часть своей работы, но она была неизбежна и он, стиснув зубы, терпел, пытаясь выглядеть "своим" для русских, и давая понять "хозяевам", что он не забыл, на кого он работает, и что им всем от русских надо. Иногда приходилось идти на "шоппинг". Если мужчины пытались что-то купить своим женам, это было еще пол-беды, но иногда кто-нибудь из русских брал с собой жену, и тогда начинался кошмар. Изредка дама ходила в торговый центр одна, но, если, она была не очень-то в себе уверена, Михаила Александровича просили с ней "разок" сходить. Деваться ему было некуда, и он шел. Иногда, дама покупала себе ворох одежды и счастливая возвращалась в отель, но потом ей многое переставало нравиться или не подходило по размеру, и тогда Михаилу уж точно приходилось идти в "бутик" сдавать ненужные шмотки. Некоторые женщины не могли бы без него справиться. К несчастью на этот раз с одним из заводских была жена, типичная провинциальная "дама", на высоких каблуках, которые бы не одна европейка никогда бы не надела в дорогу, в обтягивающей кофточке с большим вырезом, через который была видна развилка между грудями, на которой виднелся золотой крестик с бриллиантами. Мадам Михаилу представили, какая-то не то Настя, не то Даша. Он спросонья не запомнил, хотя понимал, что в результате ему это придется выучить.

Отношение русских к его персоне, он это знал, было двойственным: с одной стороны, он был "обслуга". Богатые русские бизнесмены не могли не понимать, что комиссия Михаила зависит от того, согласятся они подписать контракт или нет. Деньги-то были у них, они могли их потратить, и дать ему заработать, или искать другую фирму, поговорчивее и подешевле, оставив Михаила ни с чем. Но с другой стороны, Михаил работал не на них, а на французов, они не были его "боссами", не могли ему приказывать или быть с ним запанибрата. Он говорил совершенно свободно на английском, знал что-то такое... книжное, в общем-то никому ненужное, никчемное, но... он был москвич, а они – нет. Они привыкли все покупать, а он ничего не покупал, причем, они это чувствовали – не из-за денег, а из-за нежелания "иметь", которого они не понимали. Он, этот москвич, пожилой еврей, был другой: он от них зависел, но и они от него почему-то тоже.

Боковым зрением Михаил увидел, что девушка за стойкой взяла микрофон и объявила посадку. Первыми к дверям прошли какие две семьи с маленькими детьми и парочка толстых мужчин, пассажиры первого класса, от которых пахло дорогим парфюмом, впрочем, слишком сильно. Потом все как-то разом зашевелились, задвигались, подхватили свою ручную кладь, и около дверей образовалась очередь. Михаил поставил на колеса свой выдавший виды кабин-кейс и вместе со своими попутчиками двинулся по коридору.

Между порогом телетрапа и самолётом всегда был крохотный зазор, и Михаил, инстинктивно чуть пригнувшись, перешагнул через порожек и вошел в полутемный салон, показавшийся неожиданно маленьким. Как обычно он испытал неприятное чувство: только что была привычная твердь земли, надежного аэропортового "накопителя", и вот он – в самолете, узком, темноватом, неуютном и хрупком. Обе стюардессы вежливо каждому улыбались, дверь в кабину была открыта, и Михаил видел крепкие мужские спины, обтянутые синими кителями. Он еще помнил времена, когда в самолет надо было подниматься по трапу. Было светло и даже красиво, но сейчас был просто условный переход из одного пространства в другое. Неприятный переход, делающий тебя уязвимым, неспособным контролировать ситуацию и отдающем в чужие руки ответственность за свою жизнь. Такие мысли Михаила посещали всегда, когда он входил в самолет, хотя он и пытался от них отделаться.

С местами ему повезло, хотя "везение" он устроил себе сам за стойкой регистрации. Клиенты сидели втроем, а он через проход на крайнем кресле. Все приятно удивились, что "повезло", а Михаилу сразу было прекрасно известно, где он будет сидеть. Он открыл люк для багажа, положил туда свой кабин-кейс и уселся. В проходе все равно стоять было невоз-

можно. Люди продолжали проходить дальше по салону, шумная молодежная компания прошла в хвост. Щелкали дверки багажных отделений, пассажиры суетились, кто-то уже был чем-то недоволен, кто-то пытался поменяться. Михаил знал, что через пару минут ему придется вставать, когда его будущие соседи будут проходить на свои места. Скоро он их увидел: мужчина средних лет с девочкой вежливо попросили его встать. Михаил поднялся, пропуская папу с дочкой. Девочка лет 11-ти села на среднее сидение. «Сейчас будет проситься к окну» – подумал Михаил. Мужчина устраивал под сиденьем какую-то сумку, потом спросил дочку: «Может ты хочешь к окошку?». «Нет, я здесь буду», – ответила девочка. Михаил перестал обращать на соседей внимание. "Коллеги" через проход его будут дергать редко и можно будет пока расслабиться, хотя бы на ближайшие три с половиной часа. Книгу, которую он читал, Михаил заранее положил в кармашек на предыдущем сидении.

Суэта в салоне постепенно спадала. Несколько раз туда-обратно прошли девушки-стюардессы, хлопая дверцами багажных отделений и поглядывая на часы. Где-то слышалась французская речь, которую Михаил понимал, хотя разговаривать не решился бы. Ребята в хвосте устроились и продолжали оживленно переговариваться. Михаил краем глаза успел заметить, что у некоторых в руках были футляры с музыкальными инструментами, и еще они тащили специальные мешки с одеждой. «Это какой-то оркестр....» – лениво подумал Михаил. С всевозможными оркестрами он тоже уже неоднократно летал. «Какие-то они все слишком молодые, наверно студенты...». Михаила ребята интересовали только в плане шума, который они производили, и он понимал, что сделать с этим будет ничего нельзя. Он откинул голову и приготовился к началу рулежки на взлетную полосу. По опыту он знал, что коли они немного уже выбились из графика, то время начала движения было скорее непредсказуемо. Может это будет 15 минут, а может и два часа. Такое он видел тоже и относился к задержкам с философским стоицизмом.

Наконец самолет начал движение, грузно отъехал от терминала и тягач медленно повез его к полосе. Из громкоговорителей донеслось обычное "Граждане пассажиры! Наш самолет совершает рейс... Экипаж приветствует вас на борту... Время в пути... ". Михаил не прислушивался. В начале салона появилась стюардесса и начала, заученно-лучезарно улыбаясь, примерять на себя спасательный жилет и прикладывая к лицу желтую кислородную маску, одновременно указывая руками на какие-то дополнительные выходы. Михаил с некоторым раздражением подумал о тщете этих, казавшихся такими дурацкими, ухищрений, но продолжал смотреть в проход, девочка была премиленькая, делать все равно было нечего, а начать читать он решил после взлета.

Женя

Было без двадцати девять утра. Женя упрямо лежала в постели и слушала, как на кухне гремит чайником мать. Гремела она громче, чем полагалось, ей явно хотелось, чтобы Женя встала и позавтракала с ней. Обычно этого не происходило: Женя домой возвращалась поздно, в агенство ей не надо было вставать спозаранку. Когда отец уходил на работу в свой московский офис, она спала, но не сегодня. Сегодня утром отец уезжал в очередную командировку, встал, родители собирались, переговаривались, Женя проснулась, уже не могла заснуть и немного злилась. Никто ее специально не будил, провожать до двери папу ей было необязательно. Она знала, что он летит во Францию, и вчера вечером, возвратившись поздно из театра, она увидела, что отец не спит, ждет ее. Почему-то хотелось, чтобы он уже лег, но он ее зачем-то ждал. Впрочем она так и думала: родители всегда оказывали ей внимание, которое в последнее время, стало казаться преувеличенным, даже назойливым. Женя устала, но сделала усилия, чтобы быть любезной, пожелала отцу счастливой поездки, позавидовала, что он летит в Биарриц и прошла в ванную и оттуда сразу спать. Скорее всего, он хотел ее спросить про спектакль, но говорить о спектакле, который, кстати, ей совершенно не понравился, было лень. Отец, она слышала, тоже ушел в спальню. Мать уже спала. «Ой, родители! Уже спать ложатся в разное время... понятно с ними все!» – подумала Женя, хотя думать о родителях ей было неинтересно.

На кухню она вышла заспанная, и, зевая, уселась за стол. Мать схватила заварочный чайник и собралась налить ей чаю. «Мам, ты же знаешь, я не люблю утром чай. Свари мне кофе!» – раздраженно сказала Женя, отказываясь понимать, почему каждое утро мама навязывает ей свой "полезный для здоровья" чай. Мамино ритуальное « Женюшь, зря ты пьешь кофе. Чай замечательный окислитель кислорода и очень полезен», – Женя пропустила мимо ушей. «Чай-кофе» – тоже было утренним ритуалом. Мать принялась варить в турке кофе и стала рассказывать, как папа "уехал". Ну, уехал и уехал. С Жениной точки зрения это не стоило разговора. Она думала о том, что она напишет о вчерашнем спектакле в интернетном *Снобе*, где ее изредка публиковали. Мамин голос отвлекал: какие-то подробности о новых клиентах из Кирова. Вот какая ей разница, откуда они? Женя жевала круассан, и изредка вставляла свое "угу" в рассказ о папиной командировке.

Наконец, закончив с "обязательной частью", мать спросила про спектакль. Наконец-то! Вот сейчас, она будет говорить, а мать ее слушать. Вот так будет нормально и правильно: она – театралка, ценитель, знаток, критик. Мать-то, конечно, ничего особо не понимает, но... это сейчас неважно. Жене был нужен слушатель. Она была в модном и новом *Гоголь-центре*. Смотрела спектакль по *Сталкеру*. Содержание фильма Кончаловского послужило отправной точкой, но там были другие герои, другая *Зона*. Сначала Жене все нравилось: спектакль в фойе, герои спорят, двигаются, зрители за ними ходят, но потом... начались монологи... т.е. мысли режиссера, ее политические и общественные воззрения. Вот это было уже неинтересно, даже пошло. Особенно противен был монолог девушки, которая собиралась в *Зону*, потому что у нее были проблемы с головой. Женя саркастически подумала, что она знает "лекарство" – гильотина! Отрежут голову и нет проблемы. Она рассказала маме о спектакле и свою придумку про гильотину. Мама как всегда со всем согласилась, тем более, что она сама спектакля не смотрела. Да, Женя уже видела свою статью: про гильотину – это уж обязательно, а вообще-то, поскольку *Гоголь-Центр* открыт под эгидой Кирилла Серебренникова, то она, напишет, что все было вообще-то, "круто". Да, "круто" – это как раз то самое слово, которое нужно. Пусть оно папе и не нравится. Он вообще ничего не понимает в современном театре. Папа у нее хороший, но он – человек прошлого. Начав говорить об интересном для себя предмете, Женя окончательно проснулась.

Сборы на работу были недолгими, хотя тут тоже была своя тонкость: одеться надо было просто, демократично, с легкой небрежностью, но вещи должны были быть дорогими. Женя сняла халат, надела джинсы, синий шерстяной свитер, повязала косынку и чуть задумалась, какие надеть туфли. На улице шел дождь, и она выбрала черные ботинки на шнуровке, на низком каблуке. Потом сняла с вешалки короткую спортивную куртку. Косметики совсем немного: она работающая профессионалка, а не дамочка с Рублевки. Вскоре она уже сидела в своей маленькой красной машине. Усевшись за руль, она заметила, что джинсы неприятно стягивают ее в поясе: боже, как это надоело! Надо вновь садиться на диету. Женя вздохнула. Час-пик миновал, а к обычным пробкам она давно привыкла.

Егор

Егор сидел в том же самолете, через несколько рядов впереди Михаила. Он тоже выбрал себе крайнее к проходу кресло. В самолете ему нравилось, вернее "нравилось" было не то слово, ему в самолете было привычно. Лет пятнадцать назад он еще сам летал по всему миру бортпроводником, и поэтому каждый штрих суеты команды был ему понятен, сразу стало ясно, кто каким "номером" по полетному заданию летит. Вот девочки-бортпроводницы смотрят на часы: затянули с посадкой, а уже пора звонить по внутренней связи командиру и докладывать о готовности задраивать дверь. Как только она наглухо закроется, открывать ее не будут, тем хуже для запыхавшихся опаздавших. "Труба", как Егор по привычке называл салон, была переполнена, к тому же Егор видел, что летит оркестр, и понадобилась дополнительная возня с инструментами: весь багажный отсек в салоне был под завязку забит объемными футлярами с виолончелями и с духовыми. И то, Егор понимал, что музыкантам была сделана любезность: как миленькие покупали бы отдельное место для своих дуделок и брэнчалок. Почему он так неуважительно подумал об оркестре Егор и сам не знал. Для контрабаса, скорее всего, им пришлось купить место. Арфу не везли, будут играть на местной. Скрипачи всегда мертвой хваткой вцеплялись в свой инструмент и их было не оттащить от их "балалайки" – опять неприязненно подумал Егор, так и будут сидеть со скрипкой на коленях... ни почитать толком, ни поесть.

Дверь задраили, в самолете все успокоилось, но рулежка на полосу не начиналась, тягач для буксировки пока не пришел. Никто этого, конечно, не знал, но в багажном отсеке перетасовывали багаж и специальный груз, чтобы обеспечить центровку машины. Это было даже и неплохо: Егор знал, что если их отбуксируют от "хобота", им уж, даже и при большой задержке рейса, не удастся больше выйти на перрон. У "рукава" немедленно встанет другой борт. Место будет занято, и им придется стоять на "перешейке" хоть два часа. Прошло минут двадцать, самолет не двигался. Кто-то уже начинал песню про "безобразия", но, странным образом Егор был "не пассажир", а "команда" и дурацкий кипеш его раздражал. Он-то прекрасно понимал, почему они стоят: полос в Шереметьево всего две, и они забиты, над аэропортом совершают круги редкие ночные рейсы, которые ждут посадки. Если у кого-то мало керосина, их посадят в первую очередь. Утро, начало основных полетов, на полосу выстроилась очередь. Они не попали в свое время, и теперь ждут "окна", хоть какого-нибудь интервала. Командир ждет команд башни. Будет команда на буксир, на рулежку, на разгон.... Люди ничего этого не знали. Егор вспомнил, что когда он летал, он никогда не хотел ничего пассажирам объяснять. Купили свой билет и сидите себе тихо. Зачем разговаривать с непосвященными, велика честь, обойдутся!... странно, но он опять стал так думать, по-прежнему считая себя "посвященным".

Наконец самолет тронулся, вырулил на полосу, под полом задрожало, включились двигатели и машина начала разгон. Егор прижался спиной и затылком к креслу. Все замолчали, даже горластые музыканты. Как они оторвались от земли было почти незаметно, но взглянув в окно Егор заметил, что они, набирая высоту, завалились на крыло, совершая небольшой круг над Москвой, чтобы лечь на курс, достигая своего потолка, и выходя на крейсерскую скорость по трассе. Все это делалось вручную, но как только машина войдет в свой коридор, командир включит автопилот, и экипаж будет пить утренний кофе. Их покормят раньше, чем пассажиров. Егор представил себе, как девчонка, обслуживающая салон первого класса, делает кофе и разливает его в маленькие чашечки. Что ж, правильно, "свои" на первом месте. Бортпроводники начали суетиться, рейс короткий, девочкам не удастся даже присесть. Вот выключили надпись "пристегнуть ремни", значит легли на курс, можно встать. Вставать Егору было незачем, он заранее взял из ручной клади свой ноутбук, в туалет идти было пока ни к чему, но его охватил странный зуд. Что-то гнало его в хвост самолета, где трудились девочки, точно такие

же, какие с ним когда-то летали: молоденькие, симпатичные, не отягощенные лишним интеллектом, услужливые и даже немного говорящие по-французски. Он с интересом смотрел, как девочка, "первый номер" по штатному расписанию, показывала манипуляции со спасательным жилетом и кислородной маской, бригадирша, женщина постарше, ее он тоже видел, говорила текст сначала по-русски, а потом с акцентом по-французски. Егор ухмыльнулся. Французский бригадирши был неважный, раньше он всегда на французских рейсах брал на себя эту функцию. Он и сейчас помнил текст инструкции, но сейчас его беспокоиться не просили. Жаль, он бы с удовольствием.... Все бы услышали его приятный мужской голос с легкой картавинкой и милым ненавязчивым грассированием. А, ничего, в ряду сзади сидела французская семья, он обязательно с ними познакомится и поговорит. А еще можно отвечать по-французски, когда девочки будут разносить еду. Это было бы заманчиво, дурочки подумают, что он – француз, но у Егора были другие планы, от "закоса" под француза пришлось отказаться.

Он пошел в хвост по проходу, увидел весь салон: пассажиры уже вытащили свои планшеты и книги. Прошло минут 30 полета, почти никто не спал, ждали завтрак. Егор остановился в рабочем тамбуре и любезно поздоровался с работающими стюардессами, не забыв сказать, что он тоже летал на этой линии. Это было неправдой, так как этот рейс только что открыли, но... неважно. Девчонки работали, снаряжая тележку с напитками: доставали упаковки с соками, срезали уголки, разрезали целлофан с рулонов со стаканчиками. В кувшин с шумом сыпались кубики льда. Егор услужливо взял из рук миниатюрной блондинки пачку салфеток и положил их в нужный выдвижной ящичек на тележке, потом он споро стал насыпать из тяжелой коробки в широкое отделение внизу тележки маленькие упаковки орешков. На секунду ему показалось, что он на работе, летит "поваром": на земле принимал продукты, расписывался в ведомости, следил за погрузкой сырных подносов в сухом льду и запечатанных горячих завтраков. Тело Егора ритмично нагибалось, руки открывали нужные ящики тележки, все движения его были расчетливы и скупы. Теперь девочки не могли сомневаться в том, что он – коллега. Кто-то же мог разыграть карту "коллеги", только, чтобы с ними заговорить, познакомиться. Но этот пассажир Егор, обаятельный, свойский, был правда "свой". Девчонки улыбались и думали, что Егор – старый, бортпроводником летал давно, когда они еще были совсем маленькими. Троице в тамбуре было работать тесновато, и Егор, сказав, что он еще к ним зайдет, решил вернуться на место. Не побеспокоив соседей, он сел в свое кресло. Эйфория слияния с бортпроводницами, ощущения привычной работы, резко прошла. Егор закрыл глаза и, как это бывает с людьми, которые, по работе, не всегда могут спать ночью, практически немедленно задремал.

Лора

В маленьком калифорнийском городке, почти на границе с Мексикой, в это самое время было чуть больше десяти вечера предыдущего дня. Лора сидела за небольшим круглым столом, в маленькой гостиной, она же – кухня, и пила чай. Чай ей пить не следовало, лишняя жидкость приведет к лишнему вставанию ночью, но пить хотелось, тем более, что лечь она пока не собиралась. Лора поднялась в спальню, улеглась на кровать и раскрыла на груди компьютер. Она часто так стала делать. Лежа смотрела фильмы, передачи, разговаривала по *Скайпу*. Иногда ходила в спортзал на йогу, на иглоукалывание, и пару раз в неделю на уроки русского языка, которые она давала своим американским ученикам. Все – больше делать было нечего.

Год назад ее жизнь круто изменилась. Она даже и сама не особенно понимала, как все это с ней произошло. Прошлой весной дочь позвонила ей и предложила странную вещь: какой-то мужчина, москвич, хочет жениться на американке и таким образом получить грин-карту. Он готов, понятное дело, за услугу заплатить. Сумма не была названа, но Лора сразу согласилась, как всегда приняв решение спонтанно, ничего не обдумывая. Зачем? Обдумывать она ничего не умела. Было бы логично предположить, что она прельстилась деньгами, но, нет. Лора это сделала не из-за денег, точно, хотя деньги ей были совсем нелишними. Обычно дочь звонила ей на бегу, был слышен ее задыхающийся голос, заполошная речь, но в тот раз, Лора помнила, что она ей звонила из дому, и хотя разговор, как обычно шел о делах дочери, в конце Лоре был задан тот самый вопрос про незнакомого мужчину, она обещала подумать, обещала для виду, сама перезвонила буквально через полчаса: согласна!

И все закрутилось. Приехал этот Егор, внешне он ей сразу понравился. Высокий подтянутый мужчина в очках, с тонким интеллигентным лицом, прилично одетый, с хорошей речью, мягким юмором, которым сама Лора не обладала, но умела оценить. Она ехала встречать Егора в аэропорт, нервно сжимая руль. Как она боялась этого неизбежного этапа притирки, ведь им надо было жить под одной крышей. Как она боялась, какой он будет, что он будет говорить, что она будет говорить, как они будут спать.... Вот это последнее тревожило больше всего. Понятно, что он не захочет с ней спать, ведь, у них просто сделка, но с другой стороны... кто знает. А вдруг.... ! Лоре так хотелось мужчину. Себе-то врать было ни к чему. Он.... захотел. Все было так скоропалительно: почти сразу поехали в другой город к Егора друзьям и была настоящая свадьба. Ели, пили, сделали фотографии. Лора понимала, что все это было для иммиграционной службы, но все равно было приятно. Она оказалась в центре внимания, растерянно улыбалась, и пила много вина. Они снова лежали в одной постели и ей казалось, что она счастлива, что жизнь ее наконец-то меняется к лучшему. Потом Егор купил машину, и они возвращались на ней домой, ночевали в мотелях, гуляли, ели в ресторанах. Все, как во сне – эйфория медового месяца для двух немолодых людей.

Испортилось все тоже как-то сразу, буквально через пару недель: Егор начал вести себя в постели не так, как Лора хотела. Хотел включать свет, ему не нравились ее старые трикотажные ночные рубашки. А какое это имело значение? Лора снова поежилась, вспоминая его едкие и категоричные замечания. А как она могла "при свете"? Нельзя же было ему показать слишком широкие бедра, тяжелые ноги слишком большого размера и кожу испещренную целлюлитом! Зачем свет, какие-то ухищрения, когда есть просто зов тела.... а больше и не надо ничего. Но, все было не так: Егор ее просто не хотел, она знала, что не хотел, не мог ее хотеть после своих московских молоденьких ухоженных подружек... она была нежеланна, из их внезапного нежданного брака ничего не выходило, да и не могло выйти. После долгого, бессмысленного сидения в интернете, он ложился в постель в два-три часа ночи, отворачивался от нее и засыпал под другим одеялом. Она хотела бы почувствовать его горячую кожу, руки, но... он спал с ней в одной кровати, стараясь не прикасаться. Это было обидно, больно, невыносимо. Она

что-то делала не так, и в глубине души, сама знала – что. Все эти модные эротические игры, осознанная тактика поведения в "прелюдии", наработанная опытом, раскованность, были ей чужды. Она в свои 48 лет была все еще не искушена, считая подобную искушенность испорченностью, или даже распутством. Она хотела секса и боялась его. Скромная, зажатая, буйная и ненасытная одновременно, Лора не умела соответствовать понятиям Егора о том, как "надо", и стала думать, что ему "не надо" никак, хотя... сбитая с толку, она то считала, что это "из-за нее", то, наоборот "из-за него".

Да, Лора знала свой "гандикап", с которым она ничего не могла поделать, но с которым мужчине следовало мириться, если он ее любит. Истинная любовь была для Лоры безыскусна, про стыдный "гандикап", замешанный на долгих годах одинокой мастурбации, она предпочитала не думать, всегда себе его милостиво прощая. Лора в который раз в жизни корила себя за наивность, доверчивость, пустые надежды, которые никогда не сбывались. Как только она поверила, что все может быть по-настоящему, Егор стал грубым до хамства, назло ей ругался матом, сидел часами за своим компьютером, и она только видела его упрямую спину. Он стал придираться к ее детям. Нет, в глаза он им ничего не говорил, но ей потом высказывал, что они все никчемности, их друзья никчемности... сын ее тряпка и побирушка, дочери живут с неудачниками и ничтожествами, а сын с лохушкой, и что она, Лора, тоже никчемность. Он кричал, не стесняясь в выражениях, а потом, доведя ее до рыданий, некрасивой бессильной истерики, когда она начинала выкрикивать ему злые слова, задыхаясь от своей беспомощности и глупой несдержанности, он, наоравшись, оскорблял ее, обвиняя во всех смертных грехах, даже в предательстве, а потом отворачивался к ней спиной и они не разговаривали неделями, живя, даже, не как соседи, а как два паука в одной банке, не в силах никуда друг от друга деться.

Переехали в приличную двухэтажную квартиру, туда следовало купить вещи, но за новой мебелью Лора не ходила. В магазине она терялась, ничего не могла с собой поделать, только видела, что ее дрожащие руки, теребящие волосы, подергивание колена, тупое молчание, и молчаливый испуг, отразившийся на лице, раздражают Егора все больше и больше. Он относился к ней с неприязнью, она была ему противна. Скрыть этого он не мог и Лора начала его бояться, потерялась, не зная, как себя с ним вести, что ей надо сделать, потому что то, что он от нее хотел, она делать не могла. Не могла после долгих лет одиночества в крохотной запущенной квартирке, грязь и запустение которой, она давно не замечала, полностью погрузившись в индийские учения, вегетарианство и омолаживание организма, вдруг стать обольстительной любовницей, и, одновременно, "женой", которая гладит, стирает и печет пирожки. Он хотел, чтобы она носила кружевное микроскопическое белье, завлекая его, как московская шлюха, и в то же время "запереть" ее на кухне, как рачительную хозяйшку. А она, Лора – личность, у нее свои интеллектуальные запросы, фильмы, книги, лекции по культуре, по истории древнего мира, друг Володя. Как ей со всем этим расстаться? Лора была не готова выйти из "теплого маленького уютного морального домика", куда она от тоски забилась. Ей там было хорошо, а вместе с Егором в ее жизни стало слишком ветрено, слишком беспокойно, и, к сожалению, одиноко. Он хотел от нее слишком многого, и не уважал ни ее, ни ее семью. Как он мог? Он их никого не знал, кто дал ему право о них судить, судить ее детей? Он грубый, непримиримый, жесткий, жестокий! Ей с ним трудно, невыносимо...

Лора начинала понимать, что опять у нее ничего не вышло с очередным мужчиной. Что-то с ней было не так: мама с папой, сравнивая ее со старшим братом, отдавали предпочтение брату. Брат был умнее, ярче, значительнее. Младшая сестра умела заинтересовать собой мать, а Лора не умела. Это она интересовалась всеми: маминими учительскими рассуждениями о литературе, финансовыми планами сестры, ее ссорами с мужем. Лора ездила сидеть с племянниками, выслушивала советы, напутствия и насмешки брата, длинные отчеты о жизни, которые ей предоставляли по телефону дети, жалобы подруг, безденежье и лень сына. Он просил у нее денег, и она давала, чувствуя перед всеми своими детьми странную вину, которую она,

кроме как деньгами, ничем не могла загладить. А вот ею никто не интересовался, а только привыкли почему-то делать ей скидки. Замечать все это Лора не хотела, просто отказывалась. У нее все было хорошо, замечательно: милая семья, хорошие дети и даже работа.

Егор увидел все это не так и буквально распинал ее за мягкость, неприспособленность, наивность, граничащую с глупостью, за дурацкое упрямство, за комплексы, за попустительское насмешкам и небрежению семьи. Он был прав, но признать это было невыносимо. Зачем он бьет по самому больному? Зачем сам навешивает на нее свои комплексы, разочарования и растерянность перед будущим? Зачем часами рассказывает ей о мрачной мерзкой Москве, показывает фотографии пробок и зачитывает длинные неинтересные отрывки из ЖЖ про посторонних людей? Разве она может взвалить его горечь на свои плечи? Он требовал от нее поддержки и понимания, но сам не мог, не хотел ей все это дать. Разве муж может быть таким безжалостным? Да, и какой он муж? Он – не муж. И никогда им не станет. У нее раньше был муж, он ничего не зарабатывал, ни в чем не помогал... и теперь она, как девчонка-подросток, мечтала о принце, она создала в своем сознании образ "настоящего мужчины", которого она не нашла в бывшем спившемся муже. Ну, почему такой "настоящий мужчина" не случился в ее жизни? И Лора жила "в домике", ей даже казалось, что она уже и не ждет принца. Оказывается – ждала. Вот – дождалась! И зачем ей все это надо? Лора мечтала о недавней своей жизни без Егора, как о манне. Вот бы они действительно были соседями, кипящими чайник на одной кухне и равнодушно-дружелюбно здоровывающиеся по утрам. Пусть бы у них была "сделка" с грин-картой... Лоре следовало так честно все Егору сказать, поставить точки над "i", но она этого почему-то не делала, то ли не решалась, то ли все еще на что-то надеялась. Так плохо как в прошлом году ей не было уже давно.

Лора лежала и вспоминала прошедший год, всю эту муку, свои страдания, разочарование, страх, одиночество. И все же в черном временном пространстве прошедшего года проскальзывали редкие светлые пятнышки. Может, в конечном итоге, Егор и стал ей мужем, просто не совсем таким, каким она думала должен быть "муж ее мечты". Лора улыбнулась и нашла на своем телевизионном русском портале очередную серию о роддоме. Егор был в отъезде и Лора смотрела этот пошловатый, бесконечный фильм, прекрасно зная, что он бы ни за что его смотреть не стал. И пусть, это был "женский" фильм. Она, специалистка по древним языкам, с высокими культурными запросами, лежала и смотрела дурацкие серии с сиропным хеппи-эндом. Никто же этого не видел. Лора была одна, ей было хорошо. Она уже не жила в вымышленном искусственном "домике", скрываясь от жизни, но с ней не было и Егора, его жесткого взгляда, почти теперь привычного, под которым она все еще ежилась.

Артем

Артем, увешанный сумками и пакетами, волоча за собой небольшой чемодан на колесах, протискивался к своему ряду в середине салона. За ним шла Ася. Люди поднимали свою ручную кладь, стараясь поудобнее расположить вещи в багажных отсеках. Очередь стояла, и приходилось ждать, пока идущие впереди, наконец, усядутся. А вот и их ряд. На крайнем сидении уже сидел какой-то пожилой дядька. Артем решил, что им с Асей повезло, спасибо, хоть не молодая мать с грудным ребенком, который всю дорогу будет орать. Дядька сразу встал и пропустил их. Ася почему-то предпочла сидеть посередине. Странно. Артем принялся устраивать вещи под сидениями. Ася хотела иметь под рукой в салоне и свой маленький компьютер, и какое-то не то вязание, не то игру из ниток, из которых она хотела плести браслеты. Артема мать зачем-то дала им в дорогу груши. Артем не хотел брать, груши есть неудобно, они текут, но спорить с матерью было себе дороже. Ася сразу принялась его теребить, что-то спрашивать про музыкантов, которые летели на их рейсе. Откуда он знал, что это за оркестр, почему ее это интересовало? Ася настаивала:

– Пап, а в том футляре что это за инструмент?

– Ась, а ты сама догадаться не можешь? Скрипки. А побольше альты.

Артема привычно резануло, что внучка профессионального пианиста, его отца, известного музыканта, задает такие вопросы.

– Я не про это спрашиваю.

Асин голос зазвучал чуть раздраженно. Получалось, что отец заподозрил ее в невежестве.

– А про что?

– А про вон те странные футляры.

– Там, Ась, какие-то духовые.

Сейчас видеть футляры было уже нельзя, ребята-музыканты уселись. Но Ася, оказываясь, разглядывала инструменты еще там, у стойки.

– Там у одного был такой маленький вытянутый футляр. Что там? Как ты думаешь?

– Ну может флейта, фагот, гобой... Подлиннее, скорее всего – кларнет. Ась, я же не вижу.

– А если бы видел? Ты, что, все инструменты знаешь? Там большие футляры были, странной формы... А там что?

– Может валторны, а может туба... Понимаешь, Ась, в оркестре есть деревянные и медные духовые инструменты. Артем собирался продолжить, радуясь возможности Асю "образовать". Но не тут-то было.

– Ладно, пап, я сейчас не хочу никаких лекций. Захочу, сама про это прочту.

– Ну, ты же меня сама спросила. Я просто хотел...

– Ну, все, хватит про это. Мне уже неинтересно.

Асины интонации были чуть хамоватые, но Артем привычно не стал заострять внимания на тоне дочери. Пусть. Это у нее пройдет. Такой возраст. Артем чувствовал, что Асе не то, чтобы были интересны эти детали про симфонический оркестр, просто она, как обычно, хотела его проэкзаменовать, и была бы рада, если бы он стушевался и не знал ответа. Но, как только она поняла, что это не та тема, где папа спасует, она потеряла интерес. А может, ей действовали на нервы его длинноватые и слишком серьезные объяснения, казавшиеся ей, скорее всего, занудными. «Наверное, она права. Сейчас бы завел про все инструменты, про то, что дирижер рассаживает музыкантов "по-американски", или "по-немецки" и прочее "ляля-бубу...»», – одернул себя Артем. Кому в 11 лет нравится "учиться" в самолете?

Ася уже листала рекламный буклет авиакомпании. Самолет начал разгон и Артем вскоре почувствовал, что они уже летят. В окно виднелись ленты шоссе с крошечными движущимися

автомобилями. Он откинулся на спинку и только сейчас почувствовал, что смертельно устал. Это была не физическая усталость от напряжения или недосыпа. Артем устал морально. В последние пару лет, которые так быстро пролетели, все в его жизни стало нестабильно, шатко, зыбко. Он и раньше ощущал необходимость перемен, но только уйдя с работы и прочно усевшись дома перед экраном своего компьютера, Артем почувствовал в полной мере, что он должен что-то сделать, хотя ему было неясно, что именно.

Все дела фирмы, руководство которой он разделял с бывшим приятелем, сразу резко перестали интересовать, и первые пару месяцев после того, как он закончил ездить в небольшой офис на Сретенке, Артем наслаждался долгожданной свободой. Лет 7 назад, на пике бума мобильных телефонов, он сам и придумал денежную "фишку": за очень небольшую абонентную плату, людям на телефон присылались данные с сайтов знакомств, всякие там "молодая девушка ищет...." или "мужчина 45 лет хочет познакомиться с женщиной не старше 35 лет...". Заработки были высокими, но в последнее время резко упали. Люди щеголяли планшетами, где сами находили такую информацию. В телефонах она стала уже не так нужна. Но дело было даже не в этом. Приятель-компаньон стал каким-то красно-коричневым ублюдком. С ним случилась резкая, неприятная стычка, и они оба по молчаливому соглашению, перестали обсуждать политику вообще, но Артем-то знал, с кем ему приходится каждый день здороваться. Да и другие немногочисленные сотрудники были немногим лучше. Все их бесконечные разговоры про рестораны, кто, где, что ел, сколько заплатил, какое было обслуживание. Еще были разговоры о ночных клубах, "телках" и курортах в экзотических странах с демонстрацией фотографий. Следовало поддерживать эти разговоры, быть "в тренде", казаться своим, но с каждым днем это становилось все невыносимее. Появилось четкое сознание, что жизнь быстротечна, что он теряет время, что ему следует делать совсем другое, что рутина превращается в омерзительный маразм. Он вынужден продавать за деньги свои навыки, чтобы кто-то нашел провинциальную девчонку для разового перепихона за ужин в ресторане.

Друзья никогда не спрашивали его про работу, они показывали ему свои новые картины, или вышедшие с их иллюстрациями книги, иногда кто-то хвастался удачными статьями. Вот как он хотел жить, но не мог. А, ведь, он тоже востребован, ему заказывают небольшие сценарии, странички в альманахах. А какое он основал классное издательство, в котором сам, практически на свои деньги, издал книгу *Письма с фронта*. Как было интересно собирать письма немецких солдат домой. Другой взгляд на войну, но по сути может и не совсем другой: просто усталые, отчаявшиеся люди, каждый день которых мог оказаться последним, что с одной стороны, что с другой. Артем был заморожен своим проектом, его приглашали на радио, брали интервью. Ничего, что книга вышла очень маленьким тиражом, и что и этот крохотный тираж не раскупили даже на треть. Было интересно жить, дело-то не в деньгах, его семью "кормили" мобильные телефоны, и дураки, покупавшие их "услугу". Но, сколько можно было заниматься опротивевшим маразмом.

И вот, Артем получил последнюю зарплату и все... теперь можно было сколько угодно заниматься творчеством. Никто не мешал. Несколько раз друзья попробовали устроить его на телевидение, внештатным литературным обозревателем в какой-нибудь журнал, ну, хоть сотрудником электронного портала, но... ничего не получалось.

Впрочем работа была, просто не было денег. Не так давно одна молодая режиссерша, пробуящая свои силы в маленьком зале на 40 человек, заказала ему пьеску про "миротворцев", причем миротворцы должны были быть непременно женщинами в разных ситуациях. Артем встретился с режиссершей в кафе и она описала ему, "как она это видит". Он стал думать, пытаюсь себя подстегнуть... Думалось неважно. Ему не удалось проникнуться ее замыслом. Что-то набросал, показал ей и она одобрила пять или шесть "сценок". Ему оставалось написать диалоги. Про деньги он с ней почему-то не поговорил. У режиссерши, лохматой, странноватой девчонки, кроме честолюбивых замыслов, у самой ничего не было. Прошло месяца три и все

само как-то заглохло. Режиссерша не звонила ему, а он – ей. Артем не жалел. Про сильных и добрых женщин не получалось все равно, а заработал бы он долларов, может триста, что было смешотворно, даже сказать кому-нибудь стыдно.

Заказали для серии *Детская энциклопедия* книжку о кошках. Он уже с ними работал и опубликовал такую маленькую книжечку об автомобилях, которая вышла с картинками, причем не только по-русски, но и по-украински. Артем обрадовался, он гордо считал себя детским писателем, и про кошек – это было его. Он даже поместил в текст стишок, который написала Ася, не забыв написать ее имя в ссылке, и невероятно гордясь, что его одиннадцатилетняя дочь может за 10 минут сочинить текстик в рифму на заданную тему. Книжка о кошках была замечательная, только очень тоненькая. Он показал Асе ее фамилию, напечатанную мелким шрифтом в сноске. Станным образом, Ася осталась к факту публикации вполне равнодушна.

У Артема копились его книжки, он их дарил своим друзьям и Асиным учителям. Деньги таяли. Да и творчество, которое казалось таким притягательным в период мучений на фирме, не приносило удовлетворения. Ему исполнилось 46 лет, существовали такие, как Дмитрий Быков... и такие, как он! Кто заметил его "про автомобили" и "про кошек"? Никто. Понятное дело, Артем понимал, что существует заказная работа "для денег", а существует "твое". Ты вдохновлен идеей, пишешь и потом публикуешь, и... "вещь" имеет успех. О ней пишут, ее читают и обсуждают в блогах. Но, он не знал, о чем писать! Праздно сидел часами у компьютера и ничего не делал. Писать не хотелось. Не хотелось воплощать за копейки чужие идеи, а своих не было. Это был опять маразм, только другой. С ним что-то происходило.

В проходе салона была какая суета, люди начали ходить взад-вперед. Ася ни с того ни с сего попросилась к окну. Вот он так и знал. Кресла стояли настолько близко к следующему ряду, что даже и думать было нечего, чтобы пересесть, не побеспокоив соседа, усталого немолодого мужчину с интеллигентным лицом. Артему захотелось сказать Асе, что не стоит сейчас пересаживаться и беспокоить человека, но, разумеется, он ничего не сказал. Он просто не мог Асе отказать, какой бы капризной она не становилась. Не мог и все! Почему так получалось, Артему и самому не было ясно. Дядька безропотно встал, но Артем успел уловить его чуть укоризненный взгляд. Понятное дело, он слышал, как Артем на посадке предлагал Асе сесть у окна, и как она отказалась. В четыре года, это воспринималось бы нормально, но Асе-то было одиннадцать. Артем прочел все это во взгляде пожилого незнакомца. Сосед тяжело встал и терпеливо стоял в проходе, пока Ася усаживалась к окну. Артем извинился.

Ася

Ася не умела анализировать свои душевные состояния. Она сидела в самолете рядом с папой и знала, что скоро подадут горячий вкусный завтрак, а потом в аэропорте их встретит дедушкин и папин друг Марк, который отвезет их домой на своей машине. У Аси всегда было два дома: один в Москве, другой в Биаррице. В Москве было лучше: большая квартира, с чердаком, который, как она давно знала, называется "лофтом". Так красиво ни у кого из ее подруг не было: большие комнаты, ее спальня и просто замечательный вид на Москву-реку. На окраине Биаррица у них была всего лишь маленькая двухкомнатная квартирка, ничего особенного, зато квартира-то у них была во Франции, и там было море. Вот как было до последнего времени: она жила в Москве с родителями, пару недель они проводили в деревне, в обветшалом доме с печкой, а потом на все лето уезжали во Францию, а сейчас.... папа все испортил. Папа часто "портил" то, что становилось для Аси привычно. Она привыкала к деревне, там были подруги, велосипед, речка, а папа ее увозил, и надо было ехать во Францию, где у нее была только одна подруга Агата, дочь папиного приятеля Алена. Агата быстро говорила по-французски, и Ася от нее уставала. Папа подолгу сидел с Аленом за столом, они пили красное вино и девочки были предоставлены сами себе. Ася привыкала и к Алену и к Агате. Но потом надо было уезжать. Первый класс она отходила в обычную школу около их дома, но папа забрал ее оттуда и ей пришлось идти в новый класс замечательного, по папиным словам, лицея, где она получит "прекрасное образование". Папа так старался устроить ее в этот лицей, ходил туда, дарил свои книжки, говорил с директором о своем любимом Окуджаве, которого он "лично знал", и потом об этом всем рассказывал.

Конечно он не думал, что Асе вовсе не улыбалось идти в новый класс, привыкать к чужой учительнице, выносить любопытные взгляды незнакомых девочек. Ася стеснялась своего сколиоза, ей казалось, что жесткий корсет, который папа заставлял ее носить под одеждой, всем виден, что она неловкая, слишком длинная, что ее одежда отличается в худшую сторону от той, что носили остальные девочки. Все они были какими-то другими, а как стать одной из них, Ася не знала. Потом стало легче, появились подруги, она стала учиться, особо не отставая от других учеников, но и не блистая в учебе. В любом случае родители ее никогда не ругали. Все у Аси было хорошо, но... опять папа. Он забрал ее из лицея, они переехали во Францию и она начала учиться во французской школе. А перед отъездом она несколько месяцев ходила к учительнице французского, которую папа откуда-то знал. Это же надо! Заставил учить французский, а раньше говорил, что надо учить английский. Потом, правда, утверждал, что нужно знать оба языка. Ему бы так! А ее спросили, хочет ли она во Францию? Никто ее не спросил. А Ася и сама не знала, что она хочет. Просто она хотела, чтобы не надо было ничего менять. Она была сбита с толку и злилась. Злиться просто так, на жизнь, она не умела и злилась на папу.

У нее вообще были странные отношения с папой, она его обожала. Любила, наверное, больше, чем маму, и тем более – бабушку. Она с ним проводила почти все свое время, он ее развлекал, "спасал", жалел, сочувствовал, потакал... но, было "но", и в нем была "странность". В то же самое время, папа Асю раздражал. Вот бывает так? В нем было что-то, что ей не нравилось, а что именно, она не понимала.

Папу она любила, а главное понимала, по собственному разумению: ни мама, ни бабушка папу никогда не хвалили. Они его, как раз, все время ругали. Ну, не ругали, а "критиковали", не позволяя себе открытые грубые нападки. Ася папу не защищала, она внимательно слушала, что другие ее родственники о нем говорят, подсознательно впитывая бабушкину разочарованность сыном и мамину желчь от неудачного брака. То, что мама и бабушка говорили, Асе не нравилось, но что возразить она не знала. Может действительно, то, что папа сделал было глупо? Все взрослые вокруг нее думали по-разному. Ну, почему мамы и папы ее подруг думали оди-

наково, и ее родители по-разному? Ася мучилась от непонимания взрослых, но сделать ничего не могла. Последние два месяца стало совсем плохо, родители вообще разъехались.

Когда Ася была маленькая, она ничего не замечала. Но, потом стала понимать, что родители у нее – разные люди, они жили под одной крышей, но не вместе. Ася догадывалась, что папа знает, что она все видит. Да, ей было понятно, что родители давно чужие люди, но это знание, каким бы горьким оно не было, не мешало Асе жить. Ей даже удобно было делать вид, что у них в семье все нормально. Мама и папа по-отдельности относились к ней прекрасно, а что там между ними происходит ее впрямую не касалось. Конечно, она замечала, что папа и мама никогда не отдыхают вместе, она даже во Франции жила то с мамой, то с папой и бабушкой, по-очереди. Она быстро научилась с каждым из них вести себя по-разному. Привыкла терпеливо и отрешенно слушать бабушкины бесконечные лекции. Прерывать ее было чревато последствиями. Бабушка обижалась, жаловалась папе, и опять начинались скучные нотации, которые Ася ненавидела.

С мамой было по-другому. Мама молчала, не читала нотаций, но и поговорить с ней было ни о чем нельзя, она как-то к этому не располагала. С мамой можно было сходить в магазин и выбрать одежду. Мама назидательно говорила Асе, что модно, а что – нет. С мамой было скучновато, но нетрудно. Мама оставляла ее в покое, что было иногда приятно. Ася могла, например, читать книгу, и мама никогда не спрашивала ее "какую". А вот папа "приставал". Предлагал больше читать, при этом ему всегда казалось, что он лучше знает, что ей следует выбрать в качестве следующей книги. Он в детстве не читал *Гарри Поттера* и говорил, что это "ерунда". А можно ли было не знать *Гарри Поттера*? Не смотреть этот фильм? Папа настаивал то на игре, то на поездке, то на походе в гости. Ася загоралась идеей, но потом могла быстро остыть и никогда не стеснялась папе об этом сказать.

Он старался "слишком" сильно, и Ася его стараний не ценила. С папой было можно практически все, он ее прощал что бы она ни сделала. Да, нет, ничего такого она и не делала. Просто были двойки, тройки, капризы, лень... Они настолько часто бывали вместе, что папа Асе надоел, и тогда она ему дерзила, у нее не хватало терпения его слушать, следовать его советам, отвечать на его вопросы. Папа обижался, Ася это видела, но... ей даже нравилось смотреть на его расстроенное лицо. Он начинал ей что-то говорить, не заканчивал фразу и заикался чуть больше обычного. Она чувствовала, что имеет над ним власть, что иногда вдруг, ни с того, ни с сего, папа ее судорожно обнимал, наклонялся и ее уху, тихонько говорил «ты, мой котенок», и целовал в щеку. Зачем? Он хотел ее обнимать и целовать, а она его – нет. Было немного стыдно, приятно и неприятно одновременно.

Самолет начало немного покачивать и Асе захотелось ближе увидеть облака и она попросила пересесть. Папа предлагал ей место у окна, но тогда ей не хотелось, а сейчас захотелось, что с того? Ася видела, что папа колеблется, наверное ему неудобно беспокоить дяденьку с краю. Но сосед Асе был безразличен, подумаешь, встанет на минуту. Она требовательно посмотрела на папу. Пересаживаясь к окну, Ася мило улыбнулась их попутчику, с посторонними она умела быть светской. Теперь она могла спокойно рассматривать облака в иллюминаторе и ждать завтрак.

Борис

Борис с удовольствием уселся на свое место в хвостовой части салона, надеясь хоть чуть расслабиться. Как и обычно отъезд с оркестром на гастроли был колоссальным напряжением: ему пришлось утрясать с руководством консерватории несущественные мелочи, общаться с чиновниками московского правительства, пришлось даже ехать на коллегию министерства культуры. Французская сторона долго не утверждала программу, то им непременно хотелось русских композиторов, и, чтоб они были композиторами 20 века, то им казалось, что первое и второе отделение неравноценны. Даже было не очень понятно, что они имеют в виду под равноценностью. Перед самым отъездом заболел Саша Самсонов, концертмейстер, первая скрипка. Если бы это был обычный грипп, то ладно, Саша выздоровел бы во Франции, не беда. Но мерзавец попал в больницу с инфекционной желтухой, и только что выписался, слабый, расщепленный, какой-то равнодушный. Борис еще не опомнился от страха, не заболеет ли кто-то еще. Но, никто не заболел. Да это и понятно: Сашка был в Тайланде, где гадость и подхватил. Бориса раздражал уже сам выбор места отдыха. Ему было непонятно, как можно хотеть ехать отдыхать в эти модные экзотические страны, где надо глазеть на туземцев и валяться на пляже. Они в свое время ездили в Коктебель... и не болели никакими желтухами. Ну, что он мог сделать? Ребятам из оркестра было по 20 лет, и они все были хорошими музыкантами, но в остальном ничем не отличались от своих ровесников: ничего не читали, обожали все эти дурацкие *твиттеры*, а кое-кто даже ходил в ночные клубы.

На посадке, как всегда, пришлось умолять дежурных пропустить в салон большие инструменты, так называемый "негабаритный груз", как они это именовали. Вызывали представителя компании, Борис показывал справки, письма из министерства культуры об "оказании содействия". Какая-то идиотка у стойки монотонно повторяла, что "это" надо сдавать в багаж. "Это" не могло ехать в багаже. У ребят были дорогие инструменты, их нельзя было охлаждать, не говоря уж о "кидать". Ну, как объяснишь такое равнодушным профанам! Он был задержан, измучен сборами, суетой, придирками некомпетентных администраторов.

Борис сидел с закрытыми глазами, но слышал смех и оживленные разговоры ребят. На них оглядывались. Скоро кто-нибудь обязательно спросит из какого они оркестра, где будут выступать, на сколько едут. Так он и сидел с закрытыми глазами, делая вид, что задремал, чтобы не донимали, в том числе и свои. И однако, Борис знал, что это бесполезно, что как только можно будет встать, его ребята начнут подходить и приставать с какими-нибудь просьбами: «Борис Аркадьевич, а можно мы сегодня вечером сходим в бар? А можно мне оставят билеты на завтрашний концерт для моих друзей? А можно я зайду к вам и поиграю свое соло... я очень волнуюсь.» Вот таких нервных Борис всегда боялся, от них можно ожидать чего угодно. Могут блеснуть, а могут испортить. Понятное дело, что "лажу" публика, скорее всего, не услышит, но он-то услышит, ребята услышат, увидят его злое и расстроенное лицо. Борис не умел скрывать свои эмоции, даже не то, чтобы не умел, а, скорее, не хотел. А главное, музыкальные критики уж точно услышат: неуверенность и "грязь" его оркестра! Ему даже и думать об этом не хотелось. Его оркестр был одним из лучших молодежных студенческих оркестров мира... Ладно, все будет хорошо. Борис усилием воли переключил свои мысли на другое.

Самолет уже летел, и Борис принялся вспоминать сегодняшнее утро, хотя и вспоминать было нечего. Вчера он лег поздно и не мог уснуть, переполненный впечатлениями последней репетиции, которой он был недоволен. Спал он урывками и проснулся по будильнику совершенно неотдохнувший. Наташа тоже встала, вяло ходила из спальни в кухню, задавала ему никчемные вопросы и все предлагала "заварить", как она выражалась, овсянку. Не хотел он никакой овсянки. Наташа давно "съехала" по поводу здоровой пищи и вегетарианства. Она ничего почти не готовила, и верхом ее кулинарии было торжественное малиновое желе, кото-

рое он не любил. Невыспавшийся и перманентно нервозный Борис с трудом выносил ее полезные советы насчет «овсянка обволакивает стенки желудка и очень помогает пищеварению... необходима в самолете... ты должен следить за своим гастритом, соблюдать диету... во Франции все очень жирное...». Обычно, он был не против пресловутой овсянки, даже привык, сдабривал ее сухофруктами и ел, запивая кофе, которого Наташа давно не пила. Но сегодня утром, он назло не завтракал, совсем. Подташнивало, но Борис знал, что скоро будут подавать горячий завтрак, больше похожий на "ланч", и он его с удовольствием съест, с маслом, "холестериновым" омлетом и прочей вредной для здоровья "жратвой". Борис улыбнулся, нарочно произнося в своих мыслях слово, которое Наташа не любила. Следовало говорить "еда".

Борис знал, что проводя его, Наташа скорее всего опять легла в постель. Она полежит часов до девяти, а потом начнет делать долгую специальную гимнастику, массировать кожу лица. Затем после душа, она не торопясь съест свою неперемную овсянку, а в 11:30 ей пора будет пить кефир без сахара. Наташа слегка помешалась на здоровье и своем внешнем виде. Бориса чуть раздражала, как и любого занятого своим делом профессионала, чужая суета по пустякам. Но, Наташу он любил, и понимал, что жизнь жены стала пустоватой, но в том не было ее вины, а была беда, которая была и его бедой, но думать об этом не хотелось. Ну да, была "проблема", но ее не стоило ни в коем случае, считать "бедой". "Проблема" была связана с дочерью Мариной, но в это уже точно не стоило влезать, особенно сейчас, когда у него у самого столько всего происходит. Марина – Мариной, но ему было не до дочери. Ни к чему себя травить.

Борис видел, как по проходу начали ходить люди, стюардессы проехали с напитками. Борис почему-то подумал, что вот его покойная мама никогда бы не приставала к нему с кашей. Она каким-то образом чувствовала его настрой. Каша и для нее была пустяком. Мама не была занудой, философии "здорового образа жизни" еще не существовало, как раз, наоборот, хлеб нужно было есть обязательно, да еще с маслом.

Борис был единственным маминим сыном и единственным внуком бабушки. И вот эта его "единственность" наложила отпечаток на всю жизнь. Перед его глазами встала их старая коммуналка, темный коридор, общая кухня. Вот он в их большой захлавленной комнате, делает за столом уроки. Отца, Арона, которого на работе в редакции, все называли Аркадием, уже нет. Он долго лежал в больнице, а потом умер. Борис остался в 14 лет с двумя женщинами, которые, как он каким-то образом знал, не смогут ему помочь практически ничем. Борис представил себе бабушку: пожилая и грузная, она несет из кухни миску с блинчиками и весело приговаривает: «Борюня, кушать...». Боря любит бабушку, но немного ее стесняется: толстая, с одной грудью, с пустым местом на месте другой, с выпяченным животом, в засаленном фартуке, бабушка упражняет на Боре свой еврейский юмор, называет его на идиш то "шлемазелом", то "швыцером", то "йеклом". Бабушка знает, что делать она это может только, когда они в комнате одни, но все равно их сосед, мальчишка Шурка на год старше Бориса, тоже, глумясь, гнусаво ему кричит, копируя бабушку, и вообще всех евреев: «Борю... ня! Иди кушать!». Ну, да Борис знает, каким он кажется Шурке и другим ребятам, которые гоняют в футбол на маленькой площадке за домом: типичным жидовским маменькиным сынком со скрипочкой. Его еще и "бусей" называют, невольно вспоминая знаменитого Бусю Гольдштейна, виртуоза-скрипача, о котором они ничего не знают, но имя которого на слуху, как синоним еврейчика, никчемного и чуждого трудовому русскому народу, "хаима". Борис помнил, что совсем маленькому ему все это было обидно, но лет с 13-ти, у отца как раз сделался инсульт и его положили в больницу, на двоечника Шурку стало наплевать, тем более, что Шурка ни в жизни бы не дал обижать младшего соседа, хоть он был сто раз "еврейчик". "Еврейчик", но свой. Эх, хотел бы Боря быть Борисом Гольдштейном, но он даже тогда знал, что не получится, ну... и не получилось конечно. Куда ему!

Мама приходила с работы усталая, к ней ходили ученики, Боря редко с ними общался, ему надо было заниматься. Он заходил за занавески, отгораживающие "бабушкину" комнату и там играл пиццикато, полный звук мешал и маме и соседям. Ему, правда, тоже мешал мамин быстрый французский за шторами, но им были нужны деньги. Мама работала одна, и приходилось терпеть запинаящиеся голоса учеников, спрягающих неправильные глаголы. Ученики, все без исключения, казались ему тупыми, хотя мама считала, что это не так. Борис заканчивал 8-ой класс и никак не мог решить: математическая школа или музыкальное училище при консерватории? Бабушку не спрашивали, а мама только говорила: «Борюня, как хочешь!». Борис знал, что она так будет говорить, ничего другого и не ждал. И для мамы и для бабушки он был талантливый "Борюня", откуда они знали, что будет для него лучше в начале оттепельных 60-ых? Борис выбрал музыку и о своем выборе не жалел, хотя нет-нет, но ему в голову приходило, какой бы была его альтернативная действительность, если бы он выбрал математику. Про математиков он ничего не знал...

Бабушка умерла, он учился на скрипичном отделении консерватории, потом перешел на альт, и проучившись еще два года, закончил и дирижерское отделение. Они с ребятами играли в малом зале консерватории, и мама приглашала туда всех своих подруг и учеников: играл ее Борюня, он стоял на сцене в дурно сшитом, неновом фраке, купленном по объявлению в вестибюле училища, кланялся, такой тогда молодой, полный надежд и честолюбивых планов. Публика состояла из студентов и маминых приглашенных, всегда было много свободных мест, в руках у друзей были букеты. Мама так гордилась, сияла, улыбалась, но Борис каким-то образом чувствовал, что он уже взрослый, а мама... нет, не ребенок, но она просто ничего не может для него сделать, может только смотреть влюбленными, блестящими, жгуче-черными глазами, и задавать осторожные тактичные вопросы, терпеливо ожидая ответа, но никогда на нем не настаивая. Мама, вообще ни на чем не настаивала. У него была своя жизнь, а у мамы своя: жизнь замотанной московской, еврейской интеллигентки-гуманитария, выпускницы давно ликвидированного ИФЛИ, навеки запуганной КГБ и принципиально никуда не вмешивающейся.

Карьера Бориса складывалась удачно. Знаменитый оперный режиссер Покровский, уже довольно тогда пожилой, но полный сил, как раз организовал в Москве *Камерный музыкальный театр*, и Бориса туда пригласили дирижером. В театре он и познакомился с Наташей, молодой многообещающей певицей, тогдашней любимицей самого мэтра. Они поехали вдвоем в отпускную мекку тогдашней гуманитарной интеллигенции, в любимый Коктебель, и Наташа вернулась оттуда беременной. Когда Борис сказал об этом маме, она улыбнулась, но особой радости не выказала, не привыкла бурно выражать свои чувства, а может просто беспокоилась, не помешает ли ребенок карьере. Она вообще много чего опасалась. Борис помнил, что мама сказала, что "она его предупреждала". Вот, мол, поехал с девушкой... и результат! Как всегда, мама, по-сути, промолчала: ни восторженных восклицаний, ни разговоров про аборт. Она отстранялась. А почему, Борис так и не понял. Наверное, просто, она не относилась к мамам, которые "знают лучше", а может хотела воспитать в нем мужчину, которому следует самому все решать. Борис и решал, но если бы мама знала, насколько трудно ему давались любые решения, как ему были нужны советы.

Потом у мамы случился первый инсульт. Они уже все жили отдельно, хотя и близко. Мама внешне изменилась мало, просто волосы из иссиня-черных, стали совершенно седыми. Она отошла, слегка подволакивая ногу, и взгляд ее стал более рассеян. Маминой навязчивой идеей стало – не беспокоить! Она была совершенно адекватна, но Борис ловил себя на нежелании рассказывать ей о своих планах, проблемах и настроениях, как-то привык ее не учитывать. Он заносил ей продукты, спрашивал, что ей надо купить в следующий раз и спешил уйти: ему стало неинтересно с ней оставаться, не было потребности в общении. Через пару лет – второй удар, и мама уже едва могла обходиться без присмотра. Тут началось настоящее мучение. Проблемой

стало все: убрать, приготовить, покормить, помыть. Наняли сиделку, она приходила каждый день на несколько часов, а Борис ходил к матери утром, после спектаклей было уже слишком поздно, да еще в выходные с утра, если не было "утренников", и обязательно в те дни, когда не было спектаклей. С едой как-то обходились, но мыть мать ему было неудобно. Она не хотела, не в таком еще была состоянии, а Наташа ему в этом помощи не предлагала, была брезглива, и как-то "не по-этому делу". Она в таких случаях терялась и была скорее бесполезна.

Часто на выходные Борису приходилось брать мать к себе. Она слонялась по их небольшой квартире, задавала одни и те же вопросы, он ей сначала отвечал, стараясь сдержать раздражение, но говоря с ней преувеличенно громко, хотя и понимал, что мать все забывает, но она – не глухая. Потом он начинал повышать голос, сам себя за это презируя, Наташа его одергивала, а Маринка закатывала глаза. Бабушка раздражала ее тоже. Больше всего Бориса донимало мамино неприличное обжорство. Она все время хотела есть, стала патологической сладкоежкой. Когда кто-нибудь приходил, и мать сидела за столом, она все время просила подложить ей "еще", и Борису приходилось ей отказывать, попутно объясняя гостям, что "маме нельзя, что ей будет плохо". Почему-то у нее не наступало чувство насыщения. Как говорил врач, это тоже было симптомом болезни. За ней приходилось следить. Без присмотра она могла съесть пол-кило мармелада, или весь вафельный торт. К тому же мама стала неопрятна, у нее все время что-нибудь падало изо рта, часто выпадали вставные челюсти. Было противно, но одновременно и жалко ее. Когда-то Борис читал рассказ Мопассана: семья сажает за стол своего ничего не соображающего дедушку, он жадно ест, засовывая себе в рот целые куски. Сын нарочно забирает у него еду, и дедушка принимается плакать. Так "забавным" дедушкой развлекают гостей, не сознавая своей жестокости. Интересно мама помнила еще этот рассказ? Вряд ли. Бедная, она могла вдруг остановиться в коридоре и, смотря в одну точку, бессмысленно повторять: «Борюня, Борюня, Борюня...». Мама его звала, но когда он наконец подходил и спрашивал, что ей надо, мать не знала, что ей была в нем за надобность. Скорее всего, никакой надобности у нее и не было. Просто, угасающим сознанием, мама хотела, чтобы он был рядом. Несколько раз громко прокричав ей: «Что, мама, что? Что ты хочешь?», Борис уже не обращал на нее внимания, а его внимание – это, наверное и было тем единственным, в чем мать еще нуждалась. Борис все понимал, но не мог себя заставить близко подходить к матери, вдыхать запах ее немытого тела, видеть жирные пятна на одежде, спущенные чулки, отросшие ногти, седые, растущие на лице волоски, прилипшие к губам крошки, или желтые пятна от яйца. Ее бы следовало после еды умыть, но они этого не делали. Было противно. Часто мать неправильно застегивала пуговицы, из-за этого одна пола ее халата была выше другой. Борису приходилось снова все перестегивать и она покорно стояла, запрокинув голову, как маленькая девочка, которую папа одевает на гулянье.

В те времена они еще гастролировали вместе с Наташей, и на время их отсутствия мать по благу приходилось пристраивать в больницу. Две недели ее еще держали, а потом каждый лишний день стоил денег и унижений. В той же больнице она и умерла. Когда им оттуда позвонили в пять утра, Борис, к своему стыду, испытал облегчение. Мать уже была не мать. Она стала докучливой проблемой, и проблемой, кстати, только его одного. У них же не было родственников, он всегда был единственным маминым "Борюней". Вместе с облегчением он испытал грусть: мать была тонким, умным, тактичным человеком, ничего для себя никогда не требующим. И вот теперь ее не стало, а с нею не стало и его прежнего: их с бабушкой "Борюни". А гордится им кто-нибудь сейчас, как гордилась мать? Вряд ли: Наташа, он это знал, ревновала его к славе, а дочь Марина стремилась поймать какую-то свою "птицу счастья", бунтуя против его советов, но и не противопоставляя им своего собственного кредо. А может он "в мать"? И тоже предпочитал "отстраняться. Да и виделись они с Мариной нечасто. Дочь давно не жила в Москве.

Марина

Марина еще лежала в постели в своей маленькой однокомнатной питерской квартире. Квартира была "ее", и Марина все еще чувствовала радость, от того, что она – одна, что на кухне не будет соседей, снимающих с супа пену, от которой разносится такой отвратительный, самый ее ненавистный запах. Никто не сделает ей замечаний насчет поздних гостей, а тем более гостей, которые у нее в комнате оставались ночевать. Она уже второй год жила "у себя", но до сих наслаждалась одиночеством и помнила соседку Светлану Николаевну, парикмахершу, которая ей говорила, кривя губы: «Мариночка, скажите вашему гостю, чтобы он не занимал так надолго ванную. Вы же знаете, что я могу позвонить хозяйке, и вас выселят.». Ее сын-алкоголик рассказывал Марине скабрзные, несмешные анекдоты и наблюдал за ее реакцией. Угроза соседки была пустая, но как же это все было неприятно, как она ненавидела обтянутый атласным халатом обвисший бюст, толстую задницу и стоптанные тапочки этой мерзкой Светланы Николаевны, ее манерный голос, деланную вежливость, за которой маскировалась жгучая злоба, такая непонятная и беспричинная. Хотя, впрочем, причина была – "она, девица, жила одна... и к ней ходили мужики... что ж замуж никто не берет... что-то тут не то..." . Да, и фамилия у нее была не "Иванова".

В Москве у Марины была своя квартира, они с большими трудами вместе с родителями сложившись деньгами, купили ее и отремонтировали. Но, Марина ни за что на свете не соглашалась жить в Москве. Москва стала противна, даже враждебна. А Питер теперь – ее город. Процесс отвыкания от Москвы начался постепенно, практически еще в детстве. Марина училась во французской спецшколе, способность к языкам унаследовала от бабушки, и по общему соглашению ей взяли учителя английского. Бабушка была горячо "за", но Марина стала заниматься по новой американской системе, а не по бабушкиной консервативной, неэффективной и отжившей. Потом подруга стала собираться в Америку поучиться в школе, а папа решил тоже ее отправить в Америку по этой же программе, хотя можно было ехать и в Канаду. Создалась группа желающих за немаленькие деньги поехать поупражняться в языке и приобрести опыт "заграницы", в начале 90-ых это казалось "круто". Большинство уезжало в Штаты, но раз большинство выбрало Америку, то Марина выбрала Канаду. Папа с мамой согласились: в Канаде с семьей жил папин лучший друг, Марина их всех знала с детства, да и папа считал, что ей будет с друзьями "уютнее", чем одной. Это была причина родителей, но не Марины. Марине не так уж был нужен уют, просто Америка была вульгарной страной нуворишей, там жили быдловатые и примитивные американцы, а вот Канада... это было другое дело! Почему другое, Марина объяснить толком не могла, да и не надо было ничего объяснять: Канада – так Канада. Кое-кто пожал плечами, но всеобщее непонимание было Марине даже приятно. Ни к чему, чтобы все тебя понимали, здорово было быть другой, а Марина знала, что она – другая.

Год в канадском небогатом захолустье пролетел почти незаметно. Марина подружилась с ребятами, привыкла говорить по-английски. Один ее канадский знакомый мальчишка приехал потом поступать в Москву, в консерваторию, и по Маринойной просьбе папа его прослушал. 18-ий парень играл на уровне 3-го класса детской музыкальной школы и папа был шокирован, даже не знал, что говорить. Марина улыбалась, вспоминая панику в папиных глазах, когда он услышал *Танец маленьких лебедей*, парень специально выбрал Чайковского. Однако, шокировать папу тоже было скорее приятно. Она заплетала много косичек и вплетала в них шерстяные нитки. Никаких украшений, грубые туфли на низком каблуке, длинные юбки, бесформенные блузы и непременно холщевая сумка на плече. Марина хипповала, мама злилась, подолгу талдычила о женственности, мальчиках, осанке, необходимости "определиться". Марина не слушала, мама начинала ее раздражать. Прерывать нотации она не хотела, возражать ей было лень, да и бесполезно, соглашаться было невозможно. Раздражение просто копилось. Марина иногда

спасалась у бабушки в квартире, они пили чай, болтали. Бабушка говорила мало, предпочитала слушать, если Марина обсуждала родителей, бабушка мягко улыбалась и одобрительно кивала головой. Они были немного подруги.

А тут стали уезжать знакомые. Уехали еще одни папины друзья в Америку, другие – в Германию. Папа обсуждал отъезды и отъезжантов жалел: ТАМ, как он говорил, "хана", вот он бы... ни за что. *Московский камерный музыкальный театр* заполнял все папино существо.

Марина встала, сварила себе кофе и вытащила из холодильника творог и белый батон, которые она уже тоже по-питерски, начала называть "булкой". Сразу вспомнилась мамина "овсянка", и как мама насильно заставляла ее есть. А сейчас ее давно уже никто ни к чему не принуждает. В одном Марина маму понимала – мясо есть действительно отвратительно, все эти мерзлые тельца цыпят. Марину передернуло: есть "трупы" животных было неприемлемо, не то, чтобы аморально, а просто мерзко.

Марина клала пластик творога на хлеб и сверху наливала чуть варенья. Опять вспомнилось метро Сокол. *Камерный театр*, расположившийся в здании бывшего кинотеатра, стал театром ее детства, с которым были связаны и хорошие и плохие воспоминания. Раньше Марине казалось, что больше хороших, но теперь она считала, что нет, больше – плохих.

Была суббота, но для театра это не имело значения, Марина решила туда пойти. До отхода на работу было еще много времени, Марина уселась за компьютер и вошла в *Скайп*. Прежде всего она сделала себя "невидимой", не дай бог кто-нибудь будет ее беспокоить, не даст ей разговаривать с тем, с кем хочется. А тех, с кем не хотелось, становилось в Мариной жизни все больше и больше.

Михаил

Самолет взлетел, и можно было бы начинать читать. Книга Филипа Рота по-английски ждала Михаила, но читать почему-то не хотелось. Проехали с напитками и Михаил взял просто воду; со сладкими соками горячиться не стоило из-за диабета. Кстати, последний анализ крови на сахар был неважный, это не так огорчало, как раздражало. Здоровье подводило, но Михаил не любил заниматься собой: то почки, то сердце, то диабет, то давление. Он сам себе надоел. Надо было ходить к врачам, тратить на себя деньги. Московским врачам он совершенно не доверял: несколько лет назад ему сказали, что у него рак почки, и ее надо немедленно удалять. Ничего себе! Пришлось ехать в Германию, где никакого рака не нашли, и удалять оказалось ничего не надо. А если бы удалил... Михаилу пришлось перенести операцию на открытом сердце, которую ему сделали в Испании, он тогда работал на испанскую фирму. Они за все и заплатили. Сердце пока держалось, хотя прошло много времени, но Михаил был вынужден наблюдаться в *Институте Бурденко*, и, к сожалению, полностью выкинуть проблемы с сердцем из головы было невозможно. Диабет – ладно: просто таблетки и диета, хотя неприятно все время быть настороженным по поводу того, что есть. Вот хотелось бы ему выпить апельсинового сока, но не стал: себе дороже.

Михаил был грузным, одышливым мужчиной в очках. Он знал, что людям он кажется пожилым. Что ж, ему было 62 года. В таком возрасте мужчины выглядят и чувствуют себя совершенно по-разному. Но Михаил никогда не был спортивным парнем, не играл ни в теннис, ни в футбол. Здоровьем он похвастаться не мог, то ли из-за неспортивности и сидячего образа жизни, то ли из-за плохой генетики. Это второе, скорее всего, и являлось основным фактором его раннего нездоровья. «Это мать виновата, – неприязненно подумал Михаил, одна из ее "прелестей"». Если бы он мог, он никогда бы о матери не вспоминал вообще, но ход своих мыслей контролировать было трудно, мать, ее бесформенная фигура в застиранном халате, слежавшиеся рыжеватые с сединой волосы – мать последних месяцев ее жизни – появилась в памяти. Ее давно не было в живых, его дочь Женя даже никогда не видела бабушку, но вспоминалась она с годами почему-то все чаще. Почему? Он вовсе не хотел разбираться в их общем с матерью прошлом, тут нечего было переосмысливать, но мать лезла и лезла в его мысли...

Он был ее единственным, горячо любимым сыном, ее надеждой, гордостью, предметом ее неустанной заботы и пристального внимания. Это так! Но дикость была в том, что мать испортила ему жизнь: все, что у него не получалось, все его горести, разочарования, крушения, неблагоприятные поступки, которые он умышленно или неумышленно совершал, были из-за нее. Он устал от жизни, ничего хорошего от нее больше не ждал, он преждевременно состарился, ослаб, потерял жизненную силу, сам интерес к реальности... И это все было из-за женщины, которая его родила, родной матери! Если бы он верил в подобные вещи, он бы ее проклял, проклял бы ее память, но... теперь ничего поправить было нельзя. Михаил, плюнув на "сахар" взял себе с тележки стаканчик с соком, и залпом выпил его, надеясь отделаться от мыслей о матери. Нет, ничего не выйдет... да, он и знал, что это бесполезно: мать "летела" с ним в самолете, из небытия привычно отравляя ему путешествие.

Как ей это удавалось? Сначала он ничего не замечал: милый семейный отпуск на даче с бабушкой, а потом на юге с папой, хорошая английская спецшкола, и карманные деньги, на которые он покупал заграничные *Мальборо* и угощал ими девушек. Приятные гуманитарные друзья из школы, самые, как оказалось близкие, других он уже не нажил. Они любят модные кафе, часто собираются на вечеринки. Вино, голова чуть кружится, умные, хорошо одетые девчонки, они все раскованно болтают, перемежая свою речь англицизмами. Они ходят на кинофестивали, читают американские романы по-английски, или в *Иностранке*, обсуждают фильмы, книги, выставки, женщин. Он среди своих, его любят, понимают, ценят его юмор,

суждения, музыкальность. Вот его покойный друг за роялем, они вдвоем поют романсы и модные бардовские песенки.

Все было так хорошо, вот только институт... это мать заставила его туда идти, в этот технарский ВУЗ, отец, правда тоже считал, что надо туда... но про отца сейчас было неважно, важно было про нее. Ей-то не надо было мучаться с дурацкими начерталками, супраматами, и вычислительными математиками... Она что-то там редактировала, ни шатко, ни валко. А ему, вот, пришлось. Боже, как же он это все ненавидел! Но, мать смотрела на него, школьника, затягиваясь своей сигаретой воткнутой в длинный мундштук: « Да, ладно тебе, сейчас надо быть инженером! А кем бы хочешь быть с твоим пятым пунктом? А?». Получалось, что и выхода не было. Мать как-то так смотрела, что Михаил чувствовал себя неразумным ребенком, который не может без мамы ничего решить. Он что-то говорил про МИМО, но мать со своими презрительными «Я тебя умоляю...», категорически отсекала его желания. «В МГИМО хочешь, ну, что же ты не стал секретарем комитета комсомола?» – мать иронично улыбалась, как бы подчеркивая его наивность. Если бы ему надо было бы поступать в МГИМО, она бы давно уже подвигла его на комсомольскую карьеру, но, она же не подвигла, значит, ему следовало знать, что не стоит делать глупости. Но он так хотел в МИМО, или на журфак... Но не настоял же... Не настоял, потому что она его воспитала в сознании, что ОНА всегда знает лучше.

Вот его первая жена, пухленькая симпатичная девчонка с прекрасной розовой кожей. Ну, зачем он делился с матерью тем, как он живет. Он приходил, в хорошем настроении, рассказывал. Мать как раз только что выписалась из больницы, куда она попала с сердечным приступом. Может у него было слишком хорошее настроение? Он был беззаботен? Весел? Легкомыслен? Он оставался какое-то время с родителями в своей старой квартире и возвращался к жене... А мать чувствовала себя несчастной, ей было недодано. И постепенно, любой ироничный штрих его рассказа о жене и ее "семейке" превращался в злой сарказм: "они" – идиоты, пошляки, вульгарные местечковые неучи, « ее папа – директор химчистки. Нет, вы представляете, только этого нам не хватало!» "Они" его получили обманом, но не смогли оценить, он ошибся, ой... да, ладно... ошибку можно и нужно исправить. Слава богу, у него есть она, его мама. И он ушел от своей пухленькой хорошенькой девчонки. И... мать была права: он ее не любил. Если бы любил, не ушел бы. Признавать, что мать была права, было невыносимо. Винават был он сам: не надо было жениться, не надо было уходить, не надо было жить дальше с нелюбимой...? Что не надо было делать? Михаил не знал.

Раз "мальчик" не мог выбрать достойную женщину, мать взялась за дело сама. Она его познакомила с совершенно другой девушкой, серьезной, умной, из хорошей семьи, "без химчистки". Сидеть дома и скорбеть о неудачной семейной жизни было неприятно, но Михаил понимал, что тогда, ему не так хотелось семьи, как хотелось просто уйти из дому, освободиться от матери, чтобы никто не лез в душу. И надо же! Он опять женится. Родилась девочка, его первая дочь. Трудные времена: умирает отец, болеет мать, грудной ребенок... и все как-то расстроилось. Он после работы возвращался к жене, в их чужую квартиру, где жили ее молчаливые, настороженные родители, научные работники на этот раз, и смотрел на своих "девочек". Дочка, маленькое беспомощное существо, и жена, которая была ни хорошая, ни плохая, ни обожаемая, ни ненавидимая... никакая! С ней надо было прожить жизнь, и это пугало, навело уныние, вгоняло в неизбывную тоску, от которой Михаил не мог избавиться. А тут он обнаружил, что с их общей с женой сберкнижки были сняты все деньги. "Никакая" взяла их тайком от него. Для чего? Он спросил, и она сказала, что уходит, не хочет с ним жить. Михаилом овладело смешанное чувство: у них была маленькая дочь, у него рушился второй брак, он не мог никому объяснить, почему с ним все это происходит, но с другой стороны, им овладел восторг освобождения: ему не придется жить со ставшей чужой женщиной. Острое ощущение, что лучше быть одному, чем в скуке и нелюбви коротать свою жизнь. Как здорово, что он не будет больше видеть ее вечный халат, неприбранные волосы, стоптанные тапочки. Эта

женщина не умела ничему радоваться, у не было ни класса, ни стиля, ни чувства юмора... черт бы с ней! Но, дочка? Был ли выбор? Впрочем, процесс уже было не остановить.

И тут началось! Скандалы, драки, площадная брань, клокочущая злоба, несправедливые взаимные оскорбления. Самое ужасное, что злоба была векторная: деньги! Мать была в эпицентре этого мерзкого бесстыдства, она упивалась атмосферой скандала, раздувала его и вовлекала Михаила в эту злобную, беспощадную орбиту, делая из него вероломно преданную жертву. Мать требовала мести, не давая Михаилу ни малейшего шанса остаться человеком, проявить обычное мужское благородство и великодушие. Она опустилась до кухонных разборок, получала от них наслаждение и Михаил стал ее союзником против врага, которого надо было сокрушить. Это было так на нее похоже. Мать была сильной женщиной, но в Михаиле были отцовские гены, и он бы ни за что не стал вести себя так... Но, получилось, что у него не было выбора. Он остался с матерью, которая его защищала от подонков. Он не смог остаться в стороне от схватки и это было ужасно: он был не созерцателем, а участником тех постыдных событий, которые хотелось бы забыть, но не получалось. Им тогда овладела тоска, которую уже можно было назвать депрессией. У него были в жизни женщины, удовольствия, друзья... а осталась только больная стареющая мать, требующая все больше и больше внимания. Мать – женщина его жизни! Мать, которой он был вечно должен.

Вспоминая дальнейшее, Михаил невольно улыбнулся и фундаментальные знания классической литературы услужливо подсказали ему подходящую цитату: «Год прошел, как сон пустой, царь женился на другой». Забавно, что такое само приходит в голову. По проходу медленно провезли большую тележку с горячим завтраком. Михаил прикинул, что минут через 15 подадут еду. Попутчики из Кирова оживленно о чем-то разговаривали и в ожидании завтрака уже откинули свои столики.

Женя

Женя ехала на Петровку. Она работала в самом центре Москвы, в коммуникационном агентстве Communica. У нее за плечами был уже семилетний опыт работы в сфере PR. Отвечала она за социальные медиа. Конечно ей всегда бы хотелось иметь дело с театральными проектами, но, к сожалению, чаще приходилось работать с распространением информации о каких-нибудь светодиодных светильниках и их раскруткой через социальные сети. С этим Женя ничего поделаться не могла. Она уже сменила несколько агентств, и каждый раз увольнялась, будучи уверена, что ей слишком мало платят, не ценят ее профессионализма, и просто нагло используют ее добросовестность. В Communica, ей тоже не слишком нравилось, но пока ничего больше не подвертывалось, к тому две тысячи долларов, которая она зарабатывала, были ей нелишними, хотя по московским масштабам, это считалось очень скромным. Ей, конечно, и в голову не приходило отдавать часть денег родителям на "хозяйство", но зато, хоть не приходилось на все просить у папы. Он давал, причем без звука, но неприятно было все равно. Она была рассеянной, знала за собой эту особенность, и всегда ее себе прощала. Женя то и дело теряла перчатки, зонты и мобильники. Папа был явно недоволен, однако открыто никогда ее не осуждая, всегда давал деньги на новый мобильник, но... с некоторой паузой, призванной выразить ей свое "фе". Вот теперь и просить не надо. Она уже три года ездила на небольшой японской машине, за которую заплатил отец. Ну, это-то было естественно: откуда бы она из своих жалких двух тысяч могла накопить на машину? К тому же, изредка, Женя возила родителей за продуктами. Хотя баловать их в этом смысле не стоило. Не дай бог, превратят ее в своего шофера.

Когда-то Женя с родителями очень дружила. Мама разделяла все ее театральные увлечения, они вместе везде ходили, Женя после спектаклей заходила к молодым артистам, своим друзьям, мать приходилось им представлять, и та, прямо, светилась от радости и гордости принадлежности к московской театральной богеме. Знала Женя и некоторых мэтров, хотя и шапочно. Когда ей приходилось писать о театре, она с восторгом упоминала их фамилии. Встретив ее за кулисами, они легонько наклоняли голову в знак приветствия: «Здравствуйте, Женечка, что-то давно мы вас не видели. Забыли вы нас... Как вам премьера?» Женя рассыпалась в комплиментах и всегда представляла мать, которой мэтр протягивал руку, а иногда даже и целовал. Мать смущалась, но когда они возвращались домой, она захлеб пересказывала событие "целования руки таким-то", отцу, который никогда процессом целования не восхищался. А вот, мать просто млела и от спектакля, от приоткрывшейся ей закулисной жизни, а главное от того, что ее Женечку все знают.

Женя медленно двигалась по *Щелковскому шоссе*, подолгу останавливаясь на каждом светофоре. Скоро пора будет подумать о парковке: к самому офису подъехать будет невозможно, она пройдет пешком.

Женя мать любила, но уважать ее было особо не за что. Мать ничего из себя не представляла. Она, якобы, когда-то получила диплом инженера, но Женя помнила, что когда она была маленькой, мать работала кем-то типа домоуправа, командовала слесарями, электриками, уборщицами и дворниками. В чем-то для них всех это было удобно: мать до сих пор, даже уже давным-давно удалившись от дел в ЖЭКе, занималась ежегодными ремонтами их небольшой квартиры. Женя с отцом переезжали на это время в гостиницу или ремонт приурочивался к отпуску. Женя с отцом отправлялись в подмосковный пансионат, а мать меняла унитаз и раковину. Женя не вникала в такие мелочи. Мать давала ей чистое белье и одежду, готовила еду, обеспечивала быт. Научиться от нее было нечему. Это Женя, водя мать по закрытым просмотрам некассовых фильмов, генеральным репетициям и премьерам, ее образовывала. Женя знала английский, испанский и немного французский, а мать боялась иностранных языков, и

с ней надо было ехать за границу, где маминым кошмаром было "потеряться". Мать обожала пляжи, море, спа и Женя тоже все это любила, они ездили отдыхать вместе, были немного "подружки", ценили общество друг друга, но Женя знала, что кроме всего прочего, мать просто боится ездить одна, и поэтому за них с отцом цепляется. Она была, как бы их с папой большой ребенок, за которым надо присматривать, читать ей меню по-русски и объяснять, что представляет собой то или иное блюдо.

А вот отец везде ездил один, за ним присматривать было не нужно. Он нигде не был Жениным "хвостиком". Отец жил своей напряженной профессиональной жизнью. Признавая Женино превосходство в вопросах современного театра, он вовсе не желал ее увлечения разделять, да и быть представленным актерам, ему было явно неинтересно. Несколько раз, им с мамой удавалось вытащить его на новые спектакли, но ему они никогда не нравились, он скучал, тяготился, и потом взвешенно и аргументированно объяснял, почему ему не понравилось. Женя не соглашалась, в глубине души считала, что "папа не догоняет", но было видно, что отцу наплевать на это ее конкретное несогласие. Он оставался при своем мнении и вовсе не боялся прослыть в Жениных глазах ретроградом.

В отце было что-то самодостаточное. Еще несколько лет назад, они подолгу прогуливались по тропинкам домов отдыха, сидели на лавочке и обсуждали разные книги. Литературные вкусы отца и дочери сходились гораздо чаще, чем театральные. Женя много читала, особенно в детстве и ранней юности. О, как хорошо, что она не ленилась это делать, была книжной девочкой, ведь сейчас она читала резко меньше. А так, Женя была горда, что она могла соответствовать папиной гуманитарной эрудиции. Он любил говорить с ней о книгах, спорил. Им было интересно вдвоем. Она рассказывала родителям о неурядицах на работе, о том, что ее не ценят... Родители слушали, соглашались, что-то советовали, и никогда не говорили, что надо "терпеть" и дальше из-за денег. Она могла увольняться и просто жить в доме родителей месяцами, как раньше. Женя считала себя выше денег, она имела право себя искать и деньги тут были ни при чем. Ей никогда не приходило в голову, что отец работает так напряженно, и как раз, в отличии от нее, очень нервничает из-за денег, чтобы она и мать могли отдыхать там, где им хочется.

Так все и было в Жениной жизни взрослого ребенка до недавнего времени: вечера дома, ужин со всеми вместе, разговоры о ее работе, снова разговоры об ее работе, приятелях и приятельницах, театральные новости. Потом она уходила к себе в комнату к компьютеру, мать начинала в спальне смотреть свои передачи по каналу *Культура*, а отец в проходной гостиной усаживался в свое старое кресло с книгой. Женя знала его вкусы: зарубежная классика 20 века, русская классика 19-го, и даже античные философы, которых в их семье, никто, кроме отца, не читал. Все расходилось... и Женя долго-долго сидела одна перед компьютером, "встречаясь с друзьями" в социальных сетях.

Года два-три назад все изменилось. Женя обрела компанию. Она теперь все свое свободное время проводила с друзьями, уже не виртуально, а в реальности. Жизнь не то, чтобы изменилась, нет, просто родителей там стало резко меньше. Не стало совместных походов в театр, она совсем перестала с ними отдыхать. Женя понимала, что ее семья очень маленькая, что живут они странно, слишком обособленно, друзей родителей она почти не знала, так же как и семьи. Впрочем, она никем и не интересовалась: ни у мамы, ни у папы не было братьев и сестер. С одной стороны это было хорошо, только родственничков дурацких не хватало на семейных посиделках. Но с другой стороны, к ним никто никогда не приходил, праздники всегда справлялись втроем. Так повелось, и Жене совершенно не хотелось приглашать к себе друзей.

Что было не так? Женя не понимала. Каким-то образом, родителям не нужны были люди. Папу, они, скорее всего, утомляли, а мама их просто боялась. Она вообще предпочитала не выходить одна из дому. Дома было немного затхло, тоскливо, и слишком упорядоченно. Женя стала страшиться стариться в этой квартире с родителями, а потом... без них. Родители наво-

дили на нее грусть: каждый в своей комнате занимается чем-то своим. Как родители умудрились жить такой одинокой жизнью, почему им почти никто не звонит просто так? Жене не хотелось разделять "пожилое" одиночество "человеков в футляре", как она их мысленно называла, никогда, правда, не озвучив свои Чеховские ассоциации по их поводу. А вдруг они ее заразят своим вирусом одиночества? Однажды поддавшись, она боялась увязнуть в этом ожидании смерти, без надежды и веселья.

Женя запарковалась в *Каретном ряду*, заплатив за три часа. Больше на работе она оставаться не планировала. У нее на вторую половину дня были другие планы, домой она собиралась прийти только спать.

Егор

Вот черт: Егор резко проснулся, как от толчка. Посмотрев на часы, он убедился, что спал минут пять, не больше. Он видел короткий, но часто повторяющийся сон: там была мать, их последняя встреча в больнице. Мать лежала на смятой кровати, от нее плохо пахло, он этот запах чувствовал во сне, кожа ее стала серой, и обтягивала скулы, глаза запали, в вороте несвежей рубашки виднелась сморщенная кожа груди. На всем ее облике уже лежала печать смерти. Егор проснулся, но мысли его ни на что больше переключиться не могли. Август. Он опять был в той палате, где умирала его мать. Конечно нет, он не собирался ехать к ней в больницу второй раз за день. Но пришлось. С утра он снова, в который уж раз говорил с ней о наследстве, ей надо было подписать бумагу, чтобы он смог получить свою "законную" третью часть. Две трети так и так получал отчим. Мать подписывать ничего не хотела, говорила, что она еще "подумает", чтобы он ей оставил документы, что она их хочет "внимательно почитать". Она схватила своими костистыми пальцами какие-то брошюры по наследному праву и Егором овладело привычное двойственное чувство: мать собиралась лишить его денег, его, ее единственного сына. Ему хотелось этих денег, получилась бы немаленькая сумма, но дело, однако, было не в деньгах. Егору было горько, что мать уходит, но ее память навсегда будет омрачена несправедливостью, даже в эти свои последние часы, мать мучила его, зачем-то решая обездолжить, "не дать", преподать ему какой-то злой урок, за что-то напоследок опять наказать. С другой стороны, все стало безразлично: Егор понимал, что он так и не сможет постичь логику своей матери, так и не поймет "за что она его так". К безразличию примешивалось отвращение: ее неверные, судорожные движения, когда она засовывала под подушку дурацкие документы, так и не решаясь все наконец "отпустить", не сознавая, что у нее уже совсем нет времени, чтобы хоть что-то сказать сыну.

Егор распрощался. Ему было с ней тягостно и он спешил выйти из палаты. Но через пару часов мать позвонила и слабым голосом велела ему вернуться с нотариусом, она решила подписать завещание. Егор подсуетился, хотя, в этот воскресный день, услуги нотариуса обошлись в три раза дороже. Мать уже без фокусов все подписала, нотариус ушел, и Егор тоже собрался уходить. Мать смотрела в потолок и злобно повторяла: «Хрен ей, хрен ей... Ничего не получит...» Егор понимал, что речь идет о жене родного брата его отчима, для его матери – ненавистной, коварной, лживой и алчущей денег. Хоть и больно было это сознавать, Егору было совершенно понятно, что мать в последний момент отдавала деньги не ему, он просто подворачивался. Он был, разумеется, недостоин, но лучше, чем "она, эта сволочь", ее враг. Он уходил, говорил матери, что завтра приедет, но она, отвернувшись к стене, из последних сил все повторяла свое: «Хрен ей... получит она у меня. Сволочь». Ночью Егору позвонили из больницы, мать умерла. Боже, как это так? Умерла с этой последней мыслью: «Хрен ей...», так ничего ему и не сказав, не объяснив, почему он был такой несчастливый мальчишка, или, может быть, она этого не замечала? Всю жизнь Егор неистово верил, что мама его любит. Он так хотел, ей нравиться, но... не получалось. Ничего у них никогда не получалось.

В последнее время, как только Егор засыпал, ему снилась мать, и именно, мать умирающая, жалкая, но не смирившаяся, не желающая отрешиться от мыслей о деньгах, о "врагах". У Егора испортилось настроение. Он понимал, что у него невроз, тем более странный, что со смерти матери прошло уже больше года, и жизнь его с тех пор изменилась до такой степени, что мысли о прошлом должны были бы полностью вытесниться его новой реальностью. В Калифорнии его ждала жена, причем, он знал, что Лора его действительно ждет. Егор был этому рад. Может быть в первый раз в жизни, его кто-то действительно ждал. Но, он летел не в Лос Анджелес к Лоре, он летел сначала в Биарриц, а потом, поездом, в Ганновер, где ему хотелось увидеться с тетей Ритой, старенькой, бесконечно родной, любимой еврейской тетей,

двоюродной сестрой отчима, которого Егор всю жизнь называл отцом, и который стал в одночасье, после маминой смерти – "ником". Рита, чужая ему по крови, понимала, жалела Егора, интересовалась его жизнью, и желала добра. Риту ему нужно было увидеть! Но зачем этот крюк в Биарриц? Наверное, это было прощанием со своей французской мечтой. Еще недавно он хотел купить в Биаррице дом, стать французом, наконец-то говорить по французски, дружить с соседями, приглашать к себе друзей, которым тоже дорога Франция. Хотя... каких друзей?

На душе у Егора стало тревожно: что он делает в этом самолете? Почему не летит к жене? Зачем оттягивает их встречу? Он хочет к Лоре, но ему страшно: а вдруг опять настанет между ними ужас прошедшего года? Ужас житья с совершенно чужой и неприятной женщиной под одной крышей, с воспоминаниями о Москве, снами о матери, с бесконечным, обсессивным чтением ЖЖ, мыслями о прошлом, о будущем, о деньгах, о бизнесе, за который Егор не знал как взяться. Биарриц был просто оттяжкой от решения своих проблем. Егор отдавал себе в этом отчет, но предвкушение Биаррица, одиноких прогулок по набережной, по крутым улочкам французской южной провинции, последняя передышка перед встречей с Лорой, казались ему желанными. Правильно он все-таки сделал, что решил сначала съездить в Европу. Ему надо было напоследок побыть одному, причем вдали от навязчивых, докучливых московских проблем, которые он все решил. Егор, в сущности, был горд собой. Он смог полностью освободить свою квартиру, выставить ее на продажу, и сдать все свои 9 пустых квартир жильцам. У него теперь была семья, и он смог обеспечить ее деньгами. Пусть это временно, но пока он – молодец и Биарриц заслужил. Во Франции он должен был быть один, Лора вряд ли была способна понять "его Францию", "симфонию в сером", красивую и несбывшуюся мечту юности. Он даже и не стал ей о заезде в Биарриц говорить, сказал только о тете в Ганновере.

Тележка с завтраком остановилась у его кресла и девочки заговорщицки Егору улынулись. Отлично: поднос с сыром, горячий омлет, лоток с курицей и тарталетка с запеченным персиком. Егор начал есть, настроение повышалось. Уж он в Биаррице напоследок перед домом погуляет! Интересно, что теперь для него "дом": Москва или уже Лос Анджелес? С этим пока ясности не было. Для людей "дом" – это где ждут родные люди. Но у него-то где родные? У него не было родных. Папа-отчим, больной и полубезумный, не хотел с ним знаться. Друзья оказались никакими не друзьями, их и приятелями-то можно было считать с большим трудом. Тетя Рита в Ганновере была слишком старая, уже, по-сути, ни на что не имеющая сил... А Лора, жена? Стала ли она настолько родной, чтобы считать домом место, где она его ждет? Или не стала? И станет ли? Все случилось слишком быстро. И однако, Лора уже не существовала сама по себе. Она будет матерью его дочери. Она носит его ребенка. Его первого ребенка, который у него появится в 50 лет. Сколько у Егора было подруг, но они все не захотели родить ему детей, а Лора захотела. Она показывала ему по *Скайпу* свой уже видный живот, там лежала его маленькая девочка. Лорино лицо светилось радостью, она трогательно задирала майку, чтобы он мог видеть их "девочку". Егора обожгла волна невыносимой нежности. Хотелось всем сказать, что у него будет ребенок. Но сказать было некому. Надо было дожидаться встречи с Ритой. Егор виновато понял, что он и едет в Ганновер только, чтобы хвастаться Рите своим крохотным эмбриончиком на приблизительной фотографии ультразвука. Рита будет счастлива, а мать так никогда и не узнала, что у нее будет внучка. Ну почему ему, о чем бы он ни думал, всегда вспоминалась мать? Девочки с уже пустой тележкой ехали по салону и собирали подносы, а Егор еще ничего толком не доел. Он всегда ел медленно, не в состоянии сосредоточиться только на процессе, да и ел он мало. Остро захотелось курить. Он попросил налить ему еще кофе. И сыр у него оставался и масло, и кусок омлета. Он уже совсем было собрался отдать поднос стюардессе, но "услышал" в голове недовольный голос матери: «И кто это будет за тебя доедать? Мы с папой работаем, кормим тебя, а ты смеешь оставлять еду! Мне, что, все это теперь выбрасывать?». Дальше вариаций было немного, в маминых тирадах за столом всегда присутствовали "дармоед, дрянь, паразит..." и, разумеется, "будешь сидеть пока не съешь..." и непременно

"за шиворот". Мама даже часто обещала вообще ему в следующий раз есть не давать. Егор вспомнил, как она ему говорила, когда он, голодный подросток, тянулся за третьей маленькой сосиской: «Ты, что? Хватит с тебя! Только и знаешь есть... Больше ни на что не способен.» Мать смотрела, сколько он кладет ложек сахара в чай, следила из скольких яиц он делает яичницу. Когда Егор стал постарше, он в таких случаях, гордо отодвигал тарелку, выходил из-за стола, и захлопывал дверь в свою комнату. Но замка там не было и мать обязательно приходила и продолжала читать ему занудные уроки морали, полные унижительных оскорблений.

В детстве Егор ее боялся. Он увидел себя, совсем маленького. Он болеет, у него ангина. Мать, полная решимости его полечить, кипятит молоко и наливает его в небольшую кружку. Егор видит горячее с пенкой молоко. Сейчас мать будет заставлять его взять эту жуткую кружку. В свои пять лет, он прекрасно знает, что выпить это молоко он не сможет. Он панически боится горячего и не может вынести вида пенки. Его будет рвать и мать, увидя рвоту, начнет его бить. Егор бегом спасается в своей комнате, закрывает дверь, убого баррикадирует ее стулом, и в панике прячется под кроватью. Вот мать с криками, с кружкой горячего молока пытается отодвинуть дверь, а он лежит, сжавшись под кроватью, не помня себя от ужаса, из глаз у него льются слезы и смешиваются с соплями. Мать врывается в комнату, Егор оглушен ее криками, взхлеб рыдает... и его рвет, прямо под кроватью.

Что это на него нашло? Егор отдал стюардессе поднос с недоеденным завтраком, оставив себе только кофе. От давнего видения замутило. Через пару месяцев ему исполнится 50 лет, как в Москве говорят "полтос". Он, что через 45 лет, не может забыть разъяренную маму с кружкой горячего молока? Надо просто взять себя в руки. Уже нет ни мамы, ни того дрожащего мальчишки. Или что-то от несчастного забитого пацана в нем осталось? Мать сделала его недоверчивым, хитрым, изворотливым, а главное совсем никогда не умеющим расслабиться, всегда ждущим от других подвоха.

Французы сзади продолжали оживленно болтать и Егор стал думать, как к ним подойти познакомиться. Так захотелось поговорить по-французски. Мысли его переключились, нужен был предлог для знакомства. Егор встал, и наклонившись над крайним креслом, где сидела средних лет француженка, вежливо сказал: «*Bonjour, madame. N'avez-vous pas quelque livre, que je puisse lire?*». Он так собой был горд, даже на автомате употребил давно забытый *Subjonctif*. Дама лучезарно улыбнулась и протянула ему какой-то роман в яркой обложке карманного издания. Егор взял книгу в руки, хотя читать ее он ее вовсе не собирался. Их диалог продолжался, непринужденный, легкий, светский, как раз такой, на который Егор и рассчитывал. Французы были в Москве, навещали сына, который работает шеф-поваром в одном из московских ресторанов. Егор, естественно, поинтересовался в каком и обещал сходить "передать привет от родителей". Французы летели домой, приглашали к ним зайти, муж обещал покатасть москвича на маленькой яхте. Егор записал их телефон. Мысли о прошлом его полностью оставили.

Задерганный, нервный, закомплексованный, настороженный мужчина средних лет за одну минуту превратился в обаятельного, свободно говорящего по-французски, уверенного в себе плейбоя, едущего на пару дней в Биарриц, просто, чтобы погулять на взморье и разведать новый курорт, да и едет он туда уже второй раз, просто потому что ему понравился городок. Хотя... где он только не был! Егор быстренько перечислял французам названия экзотических городов. Французы улыбались, от скуки с радостью болтая с помолодевшим на глазах Егором. Интересное знакомство, приятный молодой человек, а еще говорят, что русские невоспитанные нувориши. Неправда! Они даже наивно высказали общее суждение соотечественников о русских. «*Et bien... vous comprenez ...*» В глазах Егора зажглась горькая ирония, он, как бы, ассоциировал себя с милыми европейцами, отмежевываясь от русского богатого лоховья, наводнившего старушку– Европу.

Зажглась надпись о ремнях, начались небольшие "турбуленции" и Егору пришлось вернуться на свое место. Да, ему уже и расхотелось болтать по-французски ни о чем. Вот надо же: десять минут назад им овладело императивное желание познакомиться и "блистать", и вот желание полностью пропало. Ему всегда все быстро надоело. Егор себя знал, хотя и не рассматривал это как недостаток, он, вообще, привык себе все прощать.

Лора

Лора посмотрела очередную серию про роддом, и закрыла компьютер. Каждая серия повествовала о медицинском казусе, который случался с пациенткой. Казус накладывался на ее судьбу. Да и с самими врачами тоже все было непросто. Словом, это был банальный сериал. Лора, думала о себе, как о гуманитарии, но, странным образом, не умела критически взглянуть на произведения литературы или фильмы. У нее был примитивный критерий "нравится, не нравится", если ей приходилось объяснять "почему", она сразу терялась, априорно считая любого собеседника умнее и образованнее себя. Странным образом, Лора боялась показаться глупой. Но, вот, именно – показаться другим... Сама Лора глупой себя не считала, просто наивной, доверчивой и немного неловкой. Это были милые интеллигентские, совершенно простительные недостатки. Она-то их себе прощала, а вот "другие" – нет: ни родители, ни брат, ни сестра, ни дети. Брат был "дивным светочем", Лора и сама его так воспринимала. Младшая сестра вела себя как старшая, умела генерировать бизнес-идеи и ее не считали размазней. Да и дочери все-таки не принимали маму всерьез: она не училась в Америке, совершенно не разбиралась в практических вопросах и слушать ее советы никто не хотел. Дочери называли Лору "Додиком". Лора знала, что в их устах "Додик" было обидным пренебрежительным синонимом "неудачника, чудака, недоумка". Вот какой она была в глазах детей: доброй, но не от мира сего, почти "чокнутой". Егор тоже считал ее такой, но ему нельзя было над ней потешаться. А нельзя потому что, "принц на коне" обязан быть выше ее мелких недостатков, ему было так легко ей их простить. А Егор ничего не прощал. Нет у него к ней любви. Он не умеет любить женщину. Тут Лора сама себя останавливала: что она вообще о нем знает? Кого он любил? Какие они были? Ухоженные красотки в кружевном белье, которое она видела только в кино. А главное, они все были молодыми, а она – старая, и по-этому нежеланная. Кружевное белье – это был символ всего того, чем Лора быть не умела.

Егор в последнее время вообще перестал к ней прикасаться, разве это семья? Лора вспомнила их последнюю ссору с ее рыданиями, из-за принципиального нежелания Егора быть с ней близким. Как он ей кричал, что он "не может, вот, хоть режь его... не может! Это болезнь! Инвалидность! У него, дескать, проблемы со щитовидкой, он принимает лекарства, это их побочный эффект". Он возбуждался, начинал сильно повышать голос, его напряженные, агрессивные интонации переходили в крик. Егор обзывал ее озабоченной, нимфоманкой, истеричкой, обвинял в том, что ей "только этого и надо", что он не машина... Что он только ей не кричал. А ей-то каково? Да, ей... надо! Что в этом ненормального? Как всегда, Егор сумел довести ее до истерики и дойдя до ручки от его хамских упреков, Лора выкрикнула ему, что "хорошо, тогда она пойдет и найдет себе любовника". Не надо было этого говорить, само выскочило. Лора не умела себя контролировать: что думала – то и сказала. Он ее обижал, да в глубине души, она и не верила в импотенцию. « Это он меня не хочет... я – старая.» – думала Лора, не сознавая, что в отношениях между мужчиной и женщиной есть множество нюансов, секс – это один из них, может даже поначалу и главный, но не единственный. Они оба загнали себя в угол, и неделями молчали, каждый в своем углу.

А тут Егору отказали в грин-карте, начались дорогостоящие демарши, ожидание, продолжавшиеся месяцами без малейшей надежды повлиять на процесс. В гости приехала подруга из Москвы, куда-то они все вместе ездили... Егор ужасно себя вел: молчал, хамил, каждый день пил, выказывая ухватки завязатого запойного алкоголика, который прячет пустые бутылки. Но самое главное было даже не в этом: каждый день в спальне, Егор говорил Лоре, что с него хватит, что он уедет, и не нужна ему никакая грин-карта. Подруга в ужасе вернулась в Москву. Лоре было стыдно и за Егора с его необоснованными истериками, и за себя, которая по непонятным причинам все это терпит. Так хотелось рассказать кому-нибудь о своих страданиях,

но... кому? Это было стыдно и навлекло бы на нее очередные обидные комментарии семьи и детей. Получилось бы, что "она, как всегда, облажалась...", но от нее ничего другого и не ждали". В промежутках между ссорами и недельными молчаниями, Егор пытался рассказывать Лоре о себе: Москва, бизнес, мама, отчим, несчастливое детство, комплексы, злость, неудовлетворенность, и опять... мама! Он говорил и говорил, не давая себя прервать, пытаясь Лоре что-то объяснить про свою жизнь, но не надеясь, что она сможет его понять, или даже хотя бы внимательно выслушать. И да, она не хотела слушать: слишком много желчи, злобы, недоброжелательности он на нее выливал. Злой, жесткий, нетерпимый человек. Она не сможет с ним.

Между рассказами о себе и московской "жести" Егор принялся высмеивать Лорины новоприобретенные философские взгляды: индийские верования, йогу, специальные диеты и витамины. Все это он пренебрежительно называл "брахмапутрой", которая затуманила ей мозги, сделала вегетарианкой, для Егора это был синоним "идиотки". Его бесило все: бобы, которые она ела, комплексы упражнений, ради которых она ходила в спорт клуб, передачи и фильмы по-английски, иглоукалывание, подруги, семья, ее одежда, обувь. В ней все было для него не так.

А тут ее уволили с работы! Лорой овладело странное чувство: она испытала унижение, что сократили именно ее, а оставили молодого халтурщика мексиканца, ощущение, что она осталась без средств и целиком должна будет зависеть от Егора, не сможет давать деньги сыну, который так привык к лишним деньгам. И однако, Лора почувствовала себя раскрепощенной. Работа ее тяготила, безмерно напрягала, она ее ненавидела. Целый день она сидела у экрана, тестируя новые программы. Как часто у нее ничего не выходило, Лора не могла найти ошибку, нервничала, постоянно живя в привычном ощущении, что "ее будут ругать".

И вот все это кончилось, как отреагирует Егор? Он секунду смотрел на нее и молчал, а потом сразу решительно сказал: «Ничего, Лор, мы с тобой не пропадем. Не расстраивайся.». В этом коротком предложении для Лоры было важно слово "мы". Значит, несмотря ни на что, Егор рассматривал их как "мы". И она терпела. Сколько надо было терпеть, чтобы к нему привыкнуть, принять их разность, научиться себя с ним вести, не наступать на одни и те же грабли, Лора не знала, но что-то говорило ей, что "надо терпеть"... Это "что-то" было желание Егора иметь ребенка. Это и было тем единственным, которое с Лориной точки зрения и отличало "мужа". Он хотел иметь с ней ребенка, именно с ней. Ее первый муж детей не хотел, Лора насильно их ему родила. Ей даже не хотелось вспоминать свои три беременности: пьянство мужа, косые взгляды свекрови, материны уговоры пойти на аборт. Нет, об этом думать Лора себе не разрешала.

А Егор был готов на все ради ребенка. На все! Лора мечтательно улыбнулась. Ах, как он его хотел! В этом он был ей настоящим мужем. Он уехал в Москву обеспечить их всех деньгами. Он, ее Егор, ответственный, честный с ней до мелочей, заботливый и порядочный! Таким он был тоже. Лора опять блаженно улыбнулась, думая о Егоре, который сейчас уже летел к тете в Ганновер, а через несколько дней ей надо будет ехать его встречать. Наконец-то. Она скучала по нему больше, чем по детям. Спать не хотелось. Лора думала о том, что ей надо будет приготовить к его приезду, какую постелить скатерть, даже... что надеть.

Артем

Артем теперь сидел ближе к проходу и ему было хорошо видно, что происходит. В хвосте бортпроводники готовились к раздаче завтрака. Это было очень кстати. Артем проголодался, да и время за едой проходит быстрее. Усевшись у окна Ася крутилась, поиграла в электронную игру, потом достала свои нитки, пыталась работать над начатым браслетом, но бросила и положила голову Артему на плечо. Это было очень приятно. Артем развернулся к дочери, чтобы ей было удобнее подремать, хотя и понимал, что сейчас Ася все равно не заснет, да и прислонилась она к нему не для того, чтобы спать. Просто ей иногда хотелось поиграть в маленькую, прижаться к нему и почувствовать себя защищенной. Это случалось все реже и реже, но Артем преодолел в себе желание судорожно обнять и поцеловать дочь. Ему хотелось к ней прикоснуться, но на людях этого делать конечно не следовало. Ася злилась, говорила "ну, пап, ну, не надо. Отстань". Артем ее вполне понимал, но сделать с собой ничего не мог: дочь – это было лучшее, что случилось в его жизни, хотя за ее появление он заплатил высокую цену, и до сих пор продолжал платить.

Все получалось вкривь и вкось. Мать с отцом расстались, когда Артему было лет шесть. Как все дети он обожал своих родителей, но даже совсем маленький он понимал, что мама и папа у него особенные, он их не только любил, но и гордился. Мама была переводчицей с трех языков. Основным у нее был, редкий тогда, испанский. Мама занималась с учениками и Артем слышал, как они читали испанские стихи. Мама говорила, что это Гарсиа Лорка. Артем ничего не понимал, но ему нравились чеканные звучные строчки. Он рано выучился читать, мама руководила его чтением, они обсуждали книги, она рассказывала о писателях, и делала все, чтобы он рос культурным мальчиком.

Отец не знал ни одного иностранного языка, не пытался сына образовывать, и вообще общался с маленьким Артемом нечасто. Зато посреди их небольшой столовой стоял рояль, настоящий, большой, блестящий. Такого ни у кого не было. Отец был пианистом, выпускником знаменитой бакинской консерватории. Потом папа учился в Москве в аспирантуре и был учеником Нейгауза. Впоследствии Артем понял, что у Нейгауза были ученики и получше папы, но... даже, если он и был самым плохим и ленивым учеником, его учителем был сам Генрих Нейгауз, и все ученики мэтра, даже и самые плохие, стали профессионалами высокого класса. Артем помнил, как папа часами играл, репетировал, готовился к записи на радио цикла *Русское фортепиано*. А потом, отец уехал в Америку. Как это все происходило, какие между родителями происходили разговоры по-этому поводу, Артем не знал. Он даже не помнил ни как папа собирался, ни как его провожали, ни как они прощались. У него было ощущение, что отец уехал в гастрольную поездку, и скоро вернется. Наверное, ему так говорила мать. Однако, отец не возвращался и не возвращался.

Артем помнил, что ему, семилетнему, отца очень не хватало. В автобусе, он всегда разглядывал четырехзначное число на билете, если первые и последние цифры складывались в одинаковую сумму, можно было загадывать желание. Артем всегда загадывал одно и то же: пусть придет папа! Шло время, Артем вырос, отец домой не возвращался, но они получали от него редкие письма. В классе 7-ом он понял, что отец просто иммигрировал и не вернется никогда. Да он и привык жить без отца. Мать никогда открыто отца не осуждала, не говорила о нем гадостей, и тем не менее, каким-то образом, Артем понял ее явную к папе неприязнь. Они, видимо, жили недружно, просто Артем этого не замечал. Став старше, он спрашивал у матери, почему они с папой не поехали и звал ли он их с собой? Матери не оставалось ничего другого, как сказать правду: да, звал! Но, она не захотела никуда ехать, а отец не захотел остаться, надеясь, что в Америке достигнет большего как пианист. Между родителями произошел раскол, заложником которого стал маленький Артем.

Мать ненавидела разговаривать об отце, ничего не хотела о нем рассказывать. Когда Артем стал проявлять способности к музыке и попросил маму отдать его в музыкальную школу, она решительно отказалась, желчно ответив, что "хватит ей одного музыканта". Артем часами сидел в своей комнате, подбирая на плохонькой гитаре разные мелодии, пытаясь петь своего любимого Окуджаву. Ребятам во дворе нравилось, как он играет, девочкам, Артем это видел, тоже, но маме – никогда. Он видел, что его музыкальные упражнения мать страшно раздражают, и она назидательно призывала его "серьезно учиться, чтобы голова не была пустой"... предполагалось, как у музыкантов. «Твое дурацкое брэнчание никому не нужно. Чем тратить на это время, лучше бы занялся чем-нибудь полезным!» – вот было мнение, которое мать и не скрывала.

Мама была интеллектуальной снобкой. Сначала Артем этого не понимал, он и слова-то такого не знал, но мать окружила себя переводчиками, писателями, журналистами. Это была московская гуманитарная элита. Они приходили к ним, обсуждали культурные и правозащитные новости, собратьев по перу, у кого какая вышла статья, или перевод. На столе стояла нехитрая закуска, одна на всех бутылка сухого вина. Были жаркие споры, запальчивые замечания, но не было ни смеха, ни анекдотов, ни музыки, ни ухаживаний, ни танцев. Артему казалось, что мамыны друзья вообще не обладают чувством юмора, любая шутка казалась им вульгарной, и они все, а мама даже больше других, боялись "уронить планку", отделяя себя, гуманитарных интеллигентов, от быдловатого большинства. Мама, впрочем, любила "ходить в народ". Они ездили в деревню, снимали там домик. Мать покупала у местных молочные продукты, яйца, иногда за бутылку водки, соседние мужики оказывали ей какие-то услуги по хозяйству. Интересно, что Артем помнил, что с "народом" мать разговаривала очень любезно, вежливо, на "вы", но как-то преувеличенно громко, как будто они были глухие, или слегка дефективные. Он это видел, было немного стыдно, но мать не замечала фальши этого натужного общения. Артем общался с соседскими мальчишками, и мать, морщась, говорила ему за столом: «Представляю, какая там у них речь. Ты только следи за собой, не смей сюда приносить их грязные слова.». К тому времени Артему были известны все "грязные" слова на свете, но ему бы и в голову не пришло выругаться при матери. Мать учила, что ругаться некрасиво, а при женщинах – это вообще бесчестье. Да Артем бы никогда и не посмел. Он четко понял, что *comme il faut*, а что – нет. Он гулял во дворе с ребятами, играл на гитаре, в школе он тоже с парнями расслаблялся, но... дома при матери или ее друзьях, он держал язык за зубами, научившись быть дома не таким, как в школе или во дворе. Мама следила за ним, одергивала, наставляла, ругала, и была постоянно им неудовлетворена, ей почему-то была за него стыдно. Он не дотягивал до ее стандартов и она постоянно давала ему это понять.

Лет в 13-14 ему стали приходиться в голову мысли о женщинах. Но... мать и тут была начеку. Сначала ему была прочитана лекция о Мопассане: нет, мать не говорила, что Мопассан плох, она просто предупреждала, что "ему еще рано, он все равно не поймет этого автора так, как нужно". Получалось, что замечательный французский новеллист был, все-таки, немного порнограф. Артем стал понимать, что все, что связано с сексом – для матери "грязь". Он думал об этом, подспудно понимал, что это не так, но авторитет мамы был настолько высок, что он и сам принялся давить в себе неясные позывы и "грешные" мысли.

Артем вспомнил об одном из самых стыдных эпизодах своей подростковой жизни и напрягся. Воспоминание до сих пор было невероятно ярким. В их маленькой квартире на *Алабьяна* ничего на заперлось, кроме ванной и туалета. Мать считала возможным заходить к нему в комнату по каждому пустяку, Артем никогда не мог чувствовать там себя в своей тарелке. Однажды вечером, он пришел с морозной улицы, и решил принять ванну, что делал крайне редко, но очень уж он намерзся, ожидая троллейбуса. Вода быстро набиралась, Артем разделся, все с себя скинув и оставшись в одних старых выцветших плавках. Он сидел на краю ванной, и задумчиво, полностью расслабившись, блаженно предвкушая теплую воду, рассеянно водил

ладонью по воде, решив еще минутку подождать, чтобы ванна набралась до краев. И вдруг дверь открылась и вошла мать. Артем с досадой поднял голову. Ванная была единственным местом, где он мог быть один, наедине со своими мыслями. Как он мог не закрыть дверь? Артем смотрел на мать, не понимая, что ей нужно, ведь она видела, что он пошел в ванную, да он ей об этом и говорил. Он ожидал, что мать, как обычно, найдет какой-нибудь предлог, объясняя свое вторжение: забыла помаду, ей нужна какая-то расческа, не видел ли он ее журнал... Но мать молчала, пристально на него уставившись. Артем сначала даже не понял, куда она смотрит, и почему молчит. Смотрела она не на него, а куда-то вниз. Он тоже машинально опустил голову: плавки прямо-таки распирали. Его совершенно уже взрослый эрегированный член поднимался, как перископ подводной лодки, и был тверд, как железо. Что он, мальчишка-подросток, мог с этим сделать? Чем он был виноват? Что испытала от этого, в сущности, естественного зрелища мать? Кто знает? Может ей было дико видеть, что ее малыш, сыночек, которого она купала в ванночке, стал мужчиной, и она не может контролировать эту мужскую составляющую его жизни? Может ей, уже прочно и безнадежно одинокой и стареющей, вообще было неприятно видеть молодую мощную эрекцию? Может она испугалась грядущей сексуальной разнuzданности сына, которая опять же была для нее "вульгарной" и слишком бездуховной? А может, как любая мать, а тем более, одиночка, она боялась уличных девок "с детьми в подоле", на которых ее сын должен будет как порядочный человек жениться?

Отреагировала мать дико: «Да, как ты смеешь? О чем ты думаешь? Как тебе не стыдно? Нет, ты мне скажи! Что у тебя на уме? Ты думаешь о мерзости! За что мне это?» – кричала она, продолжая стоять меньше чем в полуметре от почти голого сына. Артем никогда ни до ни после не испытывал такого стыда. Он, вроде, ни о ком, и ни о чем не думал, просто считал, что он – один. Он даже не знал, что матери отвечать, как оправдываться. Было уже очень поздно, но Артем долго лежал без сна в кровати, вновь и вновь переживая свой позор, мамино негодование. А может он действительно испорчен? А может мать права? В его неопытном сознании отложилось: секс – это гадко, отвратительно, мерзко. Он не дотягивал до умной мамы именно поэтому: им владели низменные желания! Артем не знал, как стать "чище", но девочек он сторонился еще долго.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.